Лев Кассиль

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В начале 60-х мне пришлось около года провести на больничных койках, и, лежа с повязкой на глазах, я весь обратился в слух. И тогда я начал запоминать и позднее записывать истории, услышанные в откровенной беседе или просто подслушанные, стараясь сохранить, как можно точнее, не только *что* рассказывали люди, но и *как* они говорили. Так началось мое увлечение — собирать кусочки для лоскутного одеяла моего времени.

- Лев Разумовский
  -
  - ОТ АВТОРА
  - ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ
    - Процентная норма
    - Дороги гражданской
    - Aufgeschoben ist Aufgehoben
    - Выстрел
    - Заговорщица
    - Поле мертвых
    - Немец
    - Валенки
    - Девочка из шкафа
    - Местный философ
    - Ночной попутчик
    - Опасная профессия
    - Ухо Готвальда
    - Рассказ натурщицы
    - Туалетная бумага
    - Крыша
    - Неловкое положение
    - Пути господни неисповедимы
    - Референт Фурцевой
    - Будь здоров, папа!
    - Эротический триллер
    - Маэстро
    - Секреты акварели
    - Письмо Маше в Игналину
    - Письмо сестре из Игналины
    - Поездка в Пено
    - Зоомагазин
    - Рандеву

- Суровые люди
- Священная река
- Схватка
- Трагическая личность
- Сеанс гипноза
- Два перестроечных этюда
- Угон
- Женины метаморфозы
- Медицинская история
- Водолазы
- Эфиопочка
- Условные рефлексы

○ БОЛЬНИЧНЫЕ РАССКАЗЫ
- Клубника
- Катаракта
- Посохшие ноги
- Холодная вода
- Самогон
- Кирпичи
- Телеграмма
- Урок русского языка
- Ладога
- Самовар
- Золотишко
- Картошка
- Как шкерили рыбного мастера
- Барс
- Шахтер
- Костомукша
- Точка зрения
- Генка
- Венгрия
- Перед операцией

○ ЭТЮДЫ
- Ангел
- Встреча
- Притча
- Суббота
- Колька
- Голуби
- Стаканчиков
- Портрет вождя
- Ожидание
- Мисюська

- Муркис
- Как мы с Леной на выставку Сморгона ходили
- Варежка
- Библейская притча
- Кровь Маккавеев
- Притча о березе

Лев Разумовский
Моя коллекция

Зарисовки с натуры

ОТ АВТОРА

Нет худа без добра. В начале 60-х мне пришлось около года провести на больничных койках, и, лежа с повязкой на глазах, я весь обратился в слух. И тогда я начал запоминать и позднее записывать истории, услышанные в откровенной беседе или просто подслушанные, стараясь сохранить, как можно точнее, не только *что* рассказывали люди, но и *как* они говорили. Так началось мое увлечение — собирать кусочки для лоскутного одеяла моего времени.

Я сожалею, что начал заниматься этим поздно и в свое время не записал почти ничего из многочисленных рассказов своих родителей. Моя мама обладала даром устной новеллы, сдобренной юмором и поговорками, которых она знала великое множество на трех языках. Ее живые и яркие истории превратились в семейные легенды. Отец, в отличие от мамы, в быту был молчалив, но на любой вопрос из истории, географии, литературы и технических наук давал исчерпывающий ответ в форме интереснейшей лекции с примерами из собственного опыта.

Жизнь родителей вместила почти целый век с двумя революциями и тремя войнами, а у меня в памяти осталось только несколько эпизодов — увы.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Процентная норма

Папа, 1954 г.

До революции наша семья жила в Елисаветграде.

В 1897 году мне исполнилось десять лет, и я должен был бы поступить в первый класс гимназии, но из-за процентной нормы меня не приняли. Тогда я стал держать экстерном. Каждый год все уезжали на дачу, а я оставался дома и готовился к экзаменам. Бабушка оставляла мне спиртовку, овощи и сто яиц. Хлеб и масло я покупал в магазине и готовил себе сам.

В гимназии к шестому классу освободилось одно место, так как одного еврея исключили из-за того, что надзиратель встретил его ночью на улице. На это место претендовали двое: я и сын крупного рыбопромышленника. Я сдал экзамены лучше, но взяли его, так как он имел право жительства. Моя мама утеряла свое право жительства, унаследованное от отца, николаевского солдата, выйдя замуж за папу, таков был закон. Поэтому мама фиктивно развелась с папой, чтобы я имел право поступить в гимназию, но это не помогло — директор гимназии уперся, что я ношу фамилию отца, а отец не имеет права жительства. На очное место приняли сына рыбопромышленника, а я продолжал сдавать экстерном.

К седьмому классу произошло событие. У Николая II родился наследник, и мой отец решил воспользоваться случаем. Он написал прошение на Высочайшее Имя, где поздравил Николая с сыном и попросил в честь такого радостного события разрешить своей императорской милостью его сыну поступить в гимназию. Разрешение было получено, но оказалось, что из Елисаветграда было послано три прошения об одном и том же. Поэтому стихийно возник конкурс из трех человек, в результате которого прошел я, так как набрал высший балл.

Таким образом, два последние класса, седьмой и восьмой, я проучился в гимназии очно.

В 1905 году я переехал в Киев, чтобы держать экзамены в Политехнический институт. Процентная норма определяла одно место для еврея-абитуриента. На это место претендовали двое: я и один симпатичный парень по фамилии Соловейчик, с которым мы дружили.

Так получилось, что все экзамены он проходил первым, а я после него. Каждый раз после очередного экзамена он выходил с сияющим лицом и объявлял: «Греческий — пять! Латынь — пять!»

Официально оценка пять звучала как «весьма похвально».

Мне, идущему за ним, необходимо было получить не меньше — одна четверка выбила бы меня из конкурса. Так мы шли одинаково до последнего и главного экзамена по математике.

Он ушел первым, долго не выходил, потом вышел и сказал мне: «Сема, я должен тебя огорчить — я получил „весьма похвально с плюсом!“»

У меня упало сердце. Я вошел в класс, поздоровался с приемной комиссией, взял билет и стал думать. На билет я ответил быстро, сразу решив все задачи, а потом дополнительно дал свои варианты решения каждой из них.

Когда я вышел из класса в коридор, Соловейчик, ожидавший в волнении моего результата, бросился ко мне: «Ну, как?»

«Давид, — сказал я. — Я должен тебя огорчить. Я получил „весьма похвально с двумя плюсами“…»

Так я поступил в Киевский Политехнический.

Дороги гражданской

Мама, 1959 г.

1919 год. В Петербурге голод. Люди на улицах поднимали листья и ели. Меня с полуторагодовалой Миррой решили отправить в сытые места — на Украину, в Елисаветград, в семью свекра, Льва Самсоновича.

В Петербурге меня посадили в мягкий вагон, как тогда полагалось, а в Орше я уже попала в первый погром. Где я пряталась, как миновал этот погром, не помню, но в Елисаветграде за год было еще четыре погрома. Власть менялась. Город захватывали то банды Маруськи Никифоровой, то атамана Григорьева, то петлюровцы, — и все они грабили и жгли. Город был полностью в их руках по три-четыре дня. А мы сидели и в страхе ждали смерти.

Как сейчас помню — погромы приближались к Елисаветграду из еврейских местечек, и люди бежали оттуда в город, прятались у родных и знакомых. Потом стало опасно и в самом городе, и нас спрятала у себя в подвале наша молочница, украинка или русская, не помню.

Там в подвале набилось много людей, и все сидели затаясь, в страхе и тоске, много часов.

Ночью Мирра начала плакать, и чем дальше, тем громче, ее было не унять. Запуганные люди стали шикать и возмущаться, что она своим криком выдаст тайник. И тогда я вышла из подвала и села прямо у дороги с Миррой на руках, а мимо меня в двух шагах неслись конные бандиты. Что я пережила, можешь себе представить.

Потом, когда мы вернулись домой, мы застали следующую картину: пол был засыпан мукой из четырех вспоротых мешков и перьями и пухом из всех вспоротых подушек. Все это плавало и смешивалось в воде, льющейся из открытого крана. На столах стояли миски и ложки, грязные и липкие от варенья. Свекровь Анна была очень запаслива и скуповата, и хранила варенье годами, у нее было варенье даже четырехлетней давности, пуды варенья. Все это было разворочено, сожрано, перебито. Но этот урон показался абсолютно ничтожным по сравнению с тем, что мы узнали: за одну эту ночь в Елисаветграде было вырезано несколько тысяч евреев.

Однажды вечером, когда мы сидели за столом, в окошко тихо постучали, и в открытую форточку упала сигарета. Я подняла ее.

Это была не сигарета, а трубочка папиросной бумаги. Я развернула ее, там было написано рукой моего отца по-немецки: «Я в Киеве. Пробраться не могу. Постарайся приехать».

Железная дорога тогда была развалена. Поезда шли медленно, редко, без расписания. По дороге поезда грабили банды.

Лев Самсонович стал искать пути, как бы меня отправить в Киев наиболее безопасным способом. Наконец меня устроили вместе со студентами в студенческий вагон с документами племянницы Льва Самсоновича, с тем чтобы я остановилась в Киеве в доме Бланка, ее отца. Он был известным дантистом и руководил школой зубных врачей в Киеве. У них был в Киеве собственный дом.

И вот я поехала в этой теплушке, заполненной людьми. Что я там пережила, не могу передать, не могу рассказать. Прежде всего, ко мне с первого дня стал привязываться руководитель вагона, студент-украинец, который ехал с молодой женой. Он все время орал на меня и угрожал выкинуть из вагона на каждой ближайшей остановке. У Мирры начался понос, и через каждые пятнадцать минут я должна была возиться с горшком и пробираться среди людей к дверям выливать его. Кругом был ропот и злобные выкрики. Когда она наконец засыпала, я была счастлива и старалась ее не разбудить, потому что все остальное время она кричала и раздражала окружающих. Спала она на корзине с продуктами и получалось так: когда она не спала, я с ней возилась и было не до еды, а когда она засыпала, то продукты было не достать. Так я и проехала всю дорогу. Туфли свои модные новые, на высоких каблуках, я выкинула, так как каблуки сразу сломались, и ехала босая. Мы ехали от Елисаветграда до Киева две недели. Умирать буду, не забуду.

Наконец приехали в Киев. Я выхожу — меня никто не встречает. А у меня большая коробка с бебехами, Мирра на руках и корзинка с едой. Увидела извозчика, бросилась к нему. Он спросил: «Чем платить будешь?» Я сказала, что у меня деньги есть — вот они. Он посмотрел и презрительно плюнул: «Хиба ж це деньги? Так це ж карбованцы, хлам! В Киеве другая валюта!» — и уехал.

Что мне было делать? Наконец Бог надо мною сжалился. Подошли какие-то два молодых человека, увидели, что я плачу с Миррой на руках, позвали извозчика и повезли меня к дому Бланков. По дороге выпала коробка с вещами и рассыпалась. Они вылезли, собрали все и довезли меня до дома.

Когда я вошла в дом, выяснилось, что папы нет. Мне сказали, что он не выдержал, не дождался меня и уехал в Елисаветград.

Через пару недель он вернулся. Он добрался до Елисаветграда на крыше вагона, на котором мелом было написано «Бей жидов, спасай Россию!» Пришел к Разумовским, спросил: «Где Таня?» Ему сказали. Тогда он выпил стакан воды из крана, попрощался и поехал назад.

1920 год. Папа по какому-то делу должен был поехать в Нижний Новгород. Перед отъездом Бома Клейзер ему сказал: «Макс, зачем тебе снимать гостиницу, иди к моим родственникам, они тебя примут, и тебе не надо будет тратить деньги».

Папа, приехав в Нижний Новгород, нашел указанный адрес и постучался в дверь. Ему открыли сотрудники ЧК, которые как раз в этот момент производили обыск в этой квартире. Папа был немедленно арестован и посажен в тюрьму для допросов.

Когда мы узнали об этом, я, недолго думая, оставила Мирру и помчалась в Нижний Новгород.

Там я нашла ЧК и попросилась на прием к главному начальнику. Он меня принял и велел привести отца. Тот появился на пороге с охранником за спиной, и мы бросились друг к другу.

Потом его увели, а я начала говорить. Я рассказала начальнику все об отце, какой он человек, как он попал сюда, и уговорила его. Он позвонил по телефону и сказал: «Освободить!»

И мы с папой в тот же день сели на пароход и поехали по Волге домой.

Aufgeschoben ist Aufgehoben

Одесса, 1962 г.

Вам предлагают турпутевку в Чехословакию? Поезжайте! Что? Вы не можете, потому что у вас дела? Плюньте на дела и поезжайте. Ведь жизненные радости навещают нас нечасто. Вы говорите о будущем годе? А! Кто знает, что будет с нами в будущем году! Вы слышали пословицу: «Никогда не делай сегодня из того, что можно сделать завтра, кроме зарплаты, которую лучше получить вчера»? Так не верьте этому. Зарплату, конечно, лучше получить вчера, но завтра… Кто знает, что с нами будет завтра?

Если хотите, я расскажу вам небольшую историю.

Нас было у отца пятеро. Отец был сапожником — и о велосипеде я даже и не мечтал. Но велосипед был тогда целью моей жизни. Однажды я увидел, как катался на велосипеде сын нашего местного Ротшильда, и я заболел. Велосипед и велосипед — больше я ни о чем не думал и не хотел слышать. Было мне тогда десять лет, и я любил мастерить — винтики, гаечки… Вообще, меня тянуло к технике.

Потом была революция, потом я учился, уехал в Ленинград, было не до велосипеда…

Уже через много лет, когда появились Аська и Маринка, а я работал инженером на Электросиле, мой товарищ инженер Осипов как-то сказал мне, что он с женой каждое воскресенье выезжает за город на мотоцикле… И мне загорелось — мотоцикл! Мотоцикл-мотоцикл, и больше ни о чем я не хотел слышать!

Жена спрашивает: «Зачем тебе мотоцикл? Ты себе голову хочешь сломать? Ты ее сломаешь себе и так, без мотоцикла».

Я отвечаю: «Голову я себе не сломаю, а мы будем каждое воскресенье выезжать с детьми за город и дышать чистым воздухом».

Она спрашивает: «А что, наши дети не поместятся в обыкновенной электричке, что им нужен мотоцикл?»

Я отвечаю: «Когда я веду мотоцикл, я чувствую себя хозяином скорости. Тебе этого не понять».

Она говорит: «Ты можешь себе выдумывать, что тебе угодно, но дети сядут в твой мотоцикл только через мой труп!»

Я старше вас. Я ровесник века, и поверьте моему опыту, если вы хотите что-то сделать дома — не советуйтесь. Преподнесите то, что вы задумали, постфактум, и жена это или скушает, или не

скушает — у вас пятьдесят процентов шансов. Если же вы начнете советоваться заранее — это лишняя трепка нервной системы и почти никаких шансов.

Короче говоря, я начал откладывать на мотоцикл с коляской. При двух детях это было не так легко, но я был упорен, занимался в мотоклубе и мечтал о нашей первой поездке под Лугу в своем мотоцикле. А потом началась война, и было не до мотоцикла…

Вернувшись с войны (я отделался, слава Богу, довольно легко, у меня перебита стопа), я начал работать. Потом появился Боря, и было опять не до мотоцикла. Потом меня назначили старшим инженером на одном номерном заводе, и я начал прилично зарабатывать.

В один прекрасный день я выбрал хороший момент в доме и говорю: «Рая, я иду покупать мотороллер. Что ты скажешь?» Тогда появились мотороллеры, и мне очень понравилось — без шума.

Она говорит: «С Богом! Но, если ты хочешь меня послушать, то я тебе скажу, что уж если покупать, то не мотороллер, а „Москвича“. Мотороллер — это только для тебя, а машина — для всей семьи. Это и безопаснее, и крыша над головой. И в своей машине мы даже можем съездить к тете Норе в Ригу».

Я вам говорил о постфактуме? Так вот вам пример. А спросить, хочу ли я вообще ехать к тете Норе в Ригу — это не считается нужным…

Должен вам сказать, что я ежегодно провожу фестиваль фильмов. Что это значит? Это значит, что когда тетя Нора каждую осень приезжает к нам погостить, то я целые дни сижу в кино и смотрю все фильмы подряд. Вообще, тетя Нора — это особая тема, и я как-нибудь поговорю о ней отдельно…

Короче говоря, я встал в очередь на «Москвича» и простоял два года. А потом начался пятьдесят второй год, мне пришлось уйти с работы, и было не до «Москвича».

Когда я через пару лет восстановился, то у меня резко повысилось кровяное давление, и врачи запретили мне водить машину, а посоветовали чаще бывать на воздухе и совершать легкие прогулки на велосипеде или, еще лучше, на мопеде, чтобы не утомляться.

Я купил мопед, несколько раз на нем ездил, но меня раздражал стук, и я подарил мопед сыну, а себе купил велосипед, но прокатился на нем один единственный раз, после чего у меня случился инфаркт. Велосипед пришлось продать, а вместо него мы купили холодильник…

Так что, если вы имеете возможность ехать в Чехословакию — поезжайте.

Мой отец любил говорить: «Aufgeschoben ist aufgehoben», что

в переводе значит: «что отложено — то пропало!»

Так что плюньте на все и поезжайте!

Ведь жизненные радости навещают нас так нечасто…

Выстрел

Шёл тридцать седьмой или тридцать восьмой год. Точно не помню. Было воскресенье, потому что папа был дома, валялся в спальне на кровати, с газетой в руках, и ждал, когда мама позовёт обедать. Мирры не было, Лиля, как всегда в это время, сидела за уроками в своей комнате, а я мастерил на подоконнике в столовой деревянный линкор по чертежу из «Ленинских искр». Линкор был около пятнадцати сантиметров в длину, оснащенный капитанской рубкой, несколькими пушками по бортам, а также двумя грозными башнями, с орудиями главного калибра. Все детали вырезались мной при помощи старых бритвенных лезвий, использованных папой. Они уже не годились для бритья, но очень хорошо резали чистые сосновые дощечки, которые я нашёл у нас в чёрном ходу. Все мелкие детали я аккуратно вырезал в масштабе и ставил на палубу линкора на клей, поминутно бегая к папе в комнату за какими-то дополнительными деревяшками.

— Обед на столе! Садитесь! — возвестила мама.

Я побежал мыть руки, Лиля вышла из своей комнаты, отдохнувший папа был в хорошем настроении, шутил, мы все все уселись за стол, и мама начала разливать мясной борщ по тарелкам. В тарелку папе она сразу положила его любимую горячую мозговую кость, из которой он обычно, после того, как съедал суп, выбивал в ложку мозг, клал его на хлеб, присаливал и с удовольствием отправлял в рот.

— Ты хочешь? — предложил папа.

Я тоже любил это лакомство и протянул ложку.

Резкий лопающийся звук из спальни заставил нас замереть от неожиданности, а потом мы ринулись в спальню.

Все вещи были на своих местах. Туалетный столик, сдвоенные, аккуратно застеленные кровати, белая кафельная печь, картина деда «Девушка в лесу». На полу ни соринки. Высокий потолок с висящей люстрой лампой чист.

— Что же это было? — папа растерянно повернулся к окну и странно вскрикнул:

— Вот оно!

На уровне папиной головы в обоих стёклах были две круглые дырки — наружняя меньшая, внутреняя — большая, и от дырок тянулись паутинки расходящихся трещин…

— Камень такого сделать не мог, — вслух сказал папа, — неужели пуля?

Он отвернулся от окна, взглянул и сразу крикнул:

— Вон! В картине дыра!

У «Девушки в лесу» на синей юбке чернело отверстие. Папа снял картину, вооружился ножом, стал что-то выскребать в повреждённой стенке, и уже через минуту держал на ладони светлую искривленную пулю.

— Господи! Спаси нас и помилуй! — сказала мама. — Ты же только что здесь проходил. Что бы это могло быть? И откуда стреляли?

Папа позвонил в милицию. Милиционер, высокий и в штатском, пришёл через полтора часа, осмотрел окно, подержал в руках пулю и сказал:

— Выстрел произведён из боевой винтовки. Судя по траектории и форме отверстий, стреляли с лестничной клетки 5-ой Красноармейской. Будем искать.

С тех пор прошло больше шестидесяти лет, включивших многое, в том числе, войну и блокаду. Судьбе было угодно распорядиться, чтобы на моём жизненном пути в меня много раз стреляли, а также пытались уничтожить минами и бомбами. Несть им числа. Я их не считал и не помню.

А этот выстрел — первый в жизни — запомнил навсегда.

18 января 2000 г.

Заговорщица

Лидия Григорьевна Мульман. Керчь, 1980 г.

Тетка моя заговорщицей была. От всяких болезней лечила. Даже заик. Мне шишку вылечила. А в поликлинике говорили: резать. У меня шишка за ухом была. Сначала с фасолину, потом с голубиное яйцо, потом с куриное стала. Я в поликлинику, а они: резать.

Я к тетке: иди полечи. Больно резать неохота, а от наговору хуже не будет.

Тетка пришла вечером, меня усадила, нож взяла кухонный и стала ножом коло уха водить да что-то шептать. Пошептала, пошептала и говорит: «Ну, Лида, все, шишка твоя заговорена, теперь сама отпадет». А мне не верится — как это она отпадет?

На другое утро просыпаюсь и за ухо рукой — есть шишка. Как была, так и есть. На другой день тоже — там она. Я и верить перестала, думаю, брехня это все.

На третий день глаза продрала, пощупала — гладкое место! Я к Борису: глянь! Он глянул — вот чудеса! «Нет, — говорит, — шишки». Стали мы с ним шишку искать — и на полу, и под подушкой — искали-искали, так и не нашли…

Тетка заговоры знала всякие. Корова у нас заболела. Раздуло корову, живот у ей, как шар, на лапах не стоит, слегла. Коровы не видно, один живот-шар. Ну, мать за ветинаром. Он пришел, укол сделал, воздух спустить — ничего. Помирает корова. Язык — во

так, глаза — во так, ну, конец!

Мать бедарку запрягла и за теткой, та за восемь километров жила.

Тетка приехала и говорит: «Твоя корова спорчена. Давай маленькую скамеечку и нож, а если соседка придет иголку с ниткой просить, гони со двора, как можешь».

Поставила скамеечку у коровы между лап, села сама и над коровой ножиком водит крест накрест, и шептать. А ветинар в холодке сидит и смотрит. Пошептала, и над коровой пар пошел, от рог до хвоста пар идет. А она сидит у живота и шепчет. А корова отухать стала. И отухает на глазах, и отухает, а над ней пар идет.

И тут — шасть! — соседка во двор, иголку просит. Мать на нее чуть не с вилами — гнать! Соседка и долой со двора, а тетка все сидит, шепчет, потом крестит. Часа полтора сидела, пока весь пар не сошел и корова совсем отухла и на лапы встала.

А тетка и говорит: «Полежать я должна, Сергеевна. Худо мне — я ее болесть на себя приняла».

Полежала она часа два, поела, а потом ночь еще заночевала — сила у ней вышла. А утром уехала.

А корову сразу и прирезали на мясо.

Поле мертвых

Лидия Григорьевна Мульман. Керчь, 1980 г.

Я девчонкой лет четырнадцати в лагере у немцев была.

Как наши нас освободили, так и прошли мы километров шестьдесят, я и заболела. Простудилась, чи что, температура сорок. Меня в штабе положили. Полечили, через два дня на ногах была.

Солдаты нам говорят: «Девчата, хотите повидать передовую?»

Мы говорим: «Хотим».

Вот они нас и понасажали на какой-то тягач, чи трактор, и поехали к Сивашу. Где немцы отступали, а наши их в работу взяли. Так район, как на Камыш Бурун, гладкое поле, и немцев там валяется — не сотни, не тысячи, а я вам скажу — мильоны! И не так лежат: один здесь, другой там, а вповалку, кто где — друг на друге, кто по два, кто по три, кто цельной кучей, где лежа, где сидя, а где он бежал, а его убили, вот у него ноги в иле застряли, он и упасть не может — стоя стоит… И их сколько — мильоны!

Ну, солдаты говорят: «Пошли часы собирать, кольца тоже». Все и пошли.

А я боюсь. «Не надо мне ваших часов, колец, я мертвяков боюсь, я лучше в вашем танке сидеть буду, вас ждать…»

Они и пошли. Руки там у немцев поднимают, по карманам шарят, все дальше и дальше уходят, а я одна в танке сижу, а кругом немцы мертвые, а меня такой страх забрал — а вдруг какой да и встанет! Я и побегла к нашим. Бегу, их огибаю, тут два, тут три, а там в такое место вышла, что вокруг не обойти и не перепрыгнуть. Ну, я думаю, наступлю я на него легонечко, на грудь ему, а дальше уже опять дорогу видно, землю. Я на него ступила, а вот даже сейчас страх берет через тридцать шесть лет! У него воздух там был в нутре спертый, чи что еще… Он вдруг — Ё - ё - ё - о-ох!

Я как заору, как сумасшедшая: «Немец живой!» И бегом, дороги не разбирая, в сторону, прямиком на минное поле!

Солдатики мои все побросали — кольца свои, часы — и за мной!

Как они меня там догнали, не помню, только метрах в пяти от минного поля перехватили!

Но там их было — мильоны! Все поле зеленое — шинеля…

Немец

Надя Филимонова, 1960 г.

В сорок первом наш детский дом не успел эвакуироваться из Ровно. Пришли немцы. Отделили от нас еврейских детей и воспитателей и увели. Больше мы их не видели. Говорили, расстреляли.

А нам велели не разбегаться и чтобы дом как был, так и оставался до особого распоряжения. Вот и осталось нас человек пятьдесят ребят, повариха тетя Лида, две воспитательницы да инвалид кладовщик. Скоро начали мы голодовать, хлеба стали получать по пайкам, мяса никакого, варили картошку, кукуруза еще была, да кончалась тоже.

Сидим мы как-то вечером с девчонками в нашей комнате, болтаем, каждый про себя чего-то рассказывает: как дома жили, как в детдом попали. Уже часов одиннадцать или двенадцать было, воспитатели особо за нами не следили, вот мы к ночи и заболтались.

Вдруг в дверь постучали. Одна девчонка дверь открыла, и вошел немец. Офицер. Такой высокий, мрачный, небритый, черный. Стоит, на нас смотрит и молчит. Мы все притихли, молчим тоже.

Он обвел всех глазами, на мне остановился. Я самая старшая была, мне пятнадцать лет было. Чего-то мне страшно стало. А он пальцем сделал так — мол, иди сюда.

Я помертвела вся, вроде бы холодом обдало, а потом разом в пот бросило. Встала. Подошла к нему. Он меня оглядел всю, а потом на дверь указал и говорит: «Ком!»

Оглянулась я на девчонок, все сидят, не шелохнутся, и на меня глаза пучат. Ну, что тут сделаешь? Я и пошла. А он за мной.

Вывел из дому. На улице ночь. Темно. В редких домах огоньки светятся. Я остановилась, он толкнул меня и еще раз: «Ком!» Я хотела стрекача дать, он понял, схватил за руку, сжал крепко, а другой по кобуре похлопал. Ну, думаю, все. Застрелит. Пошла дальше. Иногда оглядываюсь, а он идет сзади за шаг и пальцем указывает, куда поворачивать.

Вот прошли мы так, наверное, с полчаса во тьме кромешной. Я почуяла, что он меня на окраину города вывел, на шоссе. Куда же это он меня? Неужели в лес? Значит, все-таки расстреляет? Или ему другое надо? Иду, дрожу, как во сне все, а слез нет, не идут слезы.

Вот свернул он с шоссе, меня к какому-то дому деревянному подвел. Взошли на крыльцо. Он фонарик достал, посветил. Я вижу, что в какой-то луже темной стою. Я нагнулась, пальцем макнула. Господи! Да это же кровь! Я тут чуть не упала, а он дверь открыл и меня внутрь впихнул. Опять фонарик зажег. Я смотрю — на полу у порога лежит большая собака. Мертвая. От нее кровь на крылечко просочилась.

Он принес ведро, тряпку и чего-то лопочет по-своему и пальцем указывает — сначала на собаку, потом на дверь, потом на ведро. Я поняла — у меня как с сердца камень. Убрать собаку, значит.

Я собаку за хвост из дому вытащила, потом воды натаскала, всю комнату два раза чисто вымыла, крыльцо — ножик он мне дал — отскребла. Потом он мне лопату принес. Я в саду за домом яму выкопала, собаку захоронила, засыпала. Он рядом стоит, смотрит, от меня ни на шаг.

Когда я кончила, он пальцем в дом поманил.

У меня опять сердце сжалось, опять испариной вся покрылась. Вот оно. Начинается. Пошла я, а ноги не идут.

А он мне буханку хлеба в руки сует и сала шмат. Дал и рукой на дверь махнул. Я сначала не поняла, стою, как дурочка. А он меня за плечи взял, к двери повернул и толкнул легонько. Я вышла из дому, оглянулась — он в дверях стоит, опять рукой машет.

Я и пошла. Сначала тихо, потом быстрее, все не верю. Потом оглянулась — ни дома, ни немца не видно. Тут я и припустила. Всю дорогу пробежала, ни разу не остановилась.

Когда в детдом прибежала, уже светать стало. Девчонки не спали, меня ждали, жалели. Обрадовались. И мы сразу хлеб и сало порезали и давай запузыривать!

Валенки

Леша Королюк. 1 декабря 1999 г.

Блокада.

Стынь. Лютый холод. Сугробы.

Серые дома с проваленными глазницами выбитых стекол. Серый удлиненный предмет на дороге. Угадываются очертания человеческого тела, замотанного в простыни. Кто-то вез — не довез. Тащил — не дотащил. Сил не хватило. Их много на набережной Фонтанки. Это люди из ближайших домов. Те, кто пытались их похоронить, возможно, уже разделили их участь и лежат одиноко в стылых квартирах.

А вон там, в сторонке, у самой чугунной ограды лежат рядом двое. То, как они лежат, положение их тел, заставляет меня остановиться. Они лежат не просто рядом, а в странной зависимости друг от друга. Двое мужчин. Один уткнулся лицом в снег, шапка свалилась с седой головы, ватник, черные брюки, одна нога в сером валенке, другая босая, посиневшая на морозе пятка. Рядом с ним другой. Лежит на боку. Одна нога в солдатском ботинке, на другой серый валенок. Руки судорожно вцепились и застыли на валенке соседа…

Девочка из шкафа

С. Петербург, 1993 г.

Меня зовут Екатерина Сергеевна. Это мое второе имя, данное мне моей второй матерью Екатериной Трофимовной Колесниковой, которая спасла мне жизнь, когда немцы оккупировали Крым.

Мое настоящее имя Рина Соломоновна. Мы жили с отцом и матерью в центре Симферополя в хорошей, богатой квартире на третьем этаже большого дома. Имя мамы было Малка Лейбовна, она была очень красивая женщина.

Немцы очень быстро достигли Крыма. Первое время нас не трогали. Потом началось массовой мародерство и грабеж квартир немецкими солдатами, за что германское командование стало строго наказывать, но запрет не касался еврейских квартир, поэтому многие жители охотно показывали квартиры, где живут «юде». Там можно было делать, что угодно.

На свою беду к нам приехали все родственники отца, бежавшие от фашистов с Украины. Думали, что немец до Крыма не дойдет.

16 декабря 1942 года был вывешен немецкий приказ: всем евреям явиться в определенное место с вещами. Сестра матери Ева, решительная женщина, ушла за день до расстрела, сказав: «Я им не дамся живой». В дальнейшем ее следы обнаружились в партизанском отряде.

А нас повели на окраину города к противотанковым рвам, которые были вырыты еще в начале войны против немецких танков.

Я шла рядом с мамой, мне было тогда одиннадцать лет, а отца толпа оттеснила от нас, он шел дальше, ведя за руки четверых мальчиков своей сестры, потому что у нее руки были заняты долгожданной грудной девочкой двух месяцев от роду.

Когда мы вышли на средину города, то оказались между двумя рядами людей, симферопольцев, которые молча смотрели на наше шествие. Вдали уже была слышна пулеметная стрельба.

Мама вдруг сильно толкнула меня в толпу и крикнула: «Спасайся!»

Я не успела опомниться, как какая-то женщина схватила меня и потащила в сторону, а эсэсовцы заметили все это, схватили маму и увезли в гестапо. Там она, наверное, и погибла. А за мною толпа сомкнулась, и эсэсовцы меня и женщину уже не догнали.

Женщина привела меня к себе домой. Крымский дворик, первый этаж, комната с кухонькой. Муж армянин, сын Вовка пяти лет и мать мужа, парализованная старуха.

Дома Екатерина Трофимовна сразу посадила меня в шкаф и заперла на ключ. Через некоторое время в шкафу была выломана задняя дверца для воздуха, так как я задыхалась в нем, свернувшись крючком среди вещей. Этот шкаф стал для меня убежищем на два с половиной года.

Екатерина Трофимовна отлично отдавала себе отчет в опасности, которой она подвергала свою семью и себя, скрывая меня. У нас на Пушкинской улице с двух сторон стояли фонари на всю протяженность улицы. На них всех висели люди, укрывавшие евреев.

Наш дворик был типичным для Крыма. На него сходили двери и выходы всех окружающих домов. Соседи знали друг о друге все: кто женился, кто развелся, кто болеет, у кого сегодня что на обед. Поэтому конспирация была полной и глубокой. Мальчика полтора года не выпускали гулять во двор, чтобы он не проболтался ребятишкам. Кроме того, мне, конечно, повезло со старухой. Во-первых, соседи знали, что Екатерина Трофимовна ежедневно выносит грязное ведро в нужник во дворе, так как дома больная старуха, во-вторых, немцы не просились на постой в эту квартиру, брезгуя соседством с больной.

Дома были трения между Екатериной Трофимовной и ее мужем, фамилия его была Данов, он был армянин, они оба были агрономы. Данов просто умирал от страха. А Екатерина Трофимовна ничего не боялась и, как потом выяснилось, была членом подпольной организации. После войны ее разыскал один летчик, которого она вытащила из лагеря и тоже где-то укрыла. Он приехал к ней при мне, снял рубашку и показал: все тело от шеи до пояса было в шрамах и ранах, живого места не было.

Екатерина Трофимовна нарекла меня Катей и удочерила.

В сорок четвертом подпольная организация предупредила Екатерину Трофимовну о провале. Кто-то из подпольщиков, не выдержав пыток в гестапо, назвал адреса. Надо было немедленно уходить в лес. Мы уходили ночью двумя группами, чтобы в условленных местах выйти на партизанских связных. Мама вела одну группу, а Данов меня и Вовку. Мама встретилась со связным, а Данов заблудился, и на связного мы не вышли, а ночь провели в том самом противотанковом рву, который после акций был закопан, а потом его снова раскопали мародеры, искали золото у трупов.

У Вознесенского есть поэма «Ров». Это о нашем Симферопольском рве. Теперь там стоим памятник с

упоминанием о «погибших советских гражданах».

После ночи нас все-таки нашли партизаны и повели в лес. Удивительно, как я после двухгодичного сидения в шкафу (я плохо ходила), как я прошла около пятидесяти километров до партизанских землянок. Поход был тяжелый. Ведущий давал по дороге немного отдыхать, потом поднимал и заставлял идти под страхом смерти, так как у него был приказ — живых не оставлять немцам. Боялись, что в гестапо их расколют и они выдадут маршрут.

Потом потянулась партизанская жизнь. Ели мы кукурузу, нашли склад мороженой кукурузы. Втыкали в початок палку, обжаривали на костре и ели полусырую, полусожженную…

Скоро нас освободила наша армия, и мы с красными ленточками на шапках вернулись в Симферополь. Когда пришли домой, оказалось, что из нашей квартиры вынесено абсолютно все, все вещи и мебель. Остались только стены, пол и потолок. Соседи сказали, что все унесли немцы. Думаю, что в 1944-м году немцам было не до наших вещей.

Я предложила маме пойти в дом, где жила с родителями, может быть, там что-то осталось. Она долго не соглашалась, говорила, что люди скажут, что она меня спасала за вещи, но потом, после ночевки на голом полу согласилась.

В нашей квартире, как оказалось, жил татарин, полицейский. Все вещи были на местах. Татарин сказал, что он ничего не трогал, так как знал, что я жива, и берег для меня. Так или не так, не знаю, но мама наняла линейку, и мы первым почему-то погрузили на нее большой резной шкаф, чтобы завтра приехать и забрать все остальное.

Когда мы на другой день приехали, на дверях квартиры висела печать. В эту ночь депортировали всех татар. На все сборы им было дано двадцать минут. Немцы давали по двадцать четыре часа. За двадцать минут они не успевали взять ни одежды, ни еды. Когда поезда приходили в Казахстан, то товарные вагоны были полны трупов.

Потом начали брать армян. Данов не ночевал дома, чтобы не компрометировать Екатерину Трофимовну. Он прятался у родных, там его и взяли. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Мама осталась одна с двумя детьми. Я пошла в седьмой класс и окончила школу с золотой медалью. Уехала в Ленинград. Хотела поступить в Университет на журналистику. Не взяли как жителя оккупированных областей. На филфак взяли. Потом вышла замуж и уехала с мужем на север.

Последние годы Екатерина Трофимовна жила летом у себя в домике в Крыму, а зимой у нас в Ленинграде. Сын Вовка стал

алкоголиком. Она жила тяжело. Год назад я обнаружила в Симферопольском архиве документы, удостоверяющие ее участие в подпольной борьбе с немцами и участие в партизанском движении. Ей дали хорошую пенсию, льготы и уголь для отопления домика. Через два месяца она умерла в возрасте 86 лет.

Я добилась, чтобы в Израиле посадили ее дерево в аллее праведников в Яд-Вашеме.

Местный философ

Новоженин. Переславль Залесский, 1965 г.

Ну, как вам наша природа-то Переславльская, нравится? Да нет, не то, нынче не то…

Вот вы в плаще, а прошлые годы в эту пору из озера народ не вылезал. Или, скажем, зима. В декабре снега, снега были, снега, мороз крепкий. А нынче двадцать пятого декабря не то дождик, не то снег, не то иней, не то смех…

А кто виноват? А ученые все это. Много на себя берут, я вам скажу. Море Рыбинское сделали, Московское море. Архангельские леса свели. Зачем? Да туда кулаков, попов ссыльных погнали. Им какую работу дали? Лес валить. А природа этого не любит. Нет, не любит.

Хозяина у нас нет, хозяина. Ведь вот этот басурман восемь лет царствовал, всю скотину свел начисто… Я, конечно, вас не знаю, может, вы меня за эти слова заберете. Не заберете? Так я ведь верно говорю, пятьдесят восемь лет на свете прожил.

Раньше-то жили по-простому. Я одиннадцатый в семье был, последыш. С блюдов глиняных больших ели. Деревянными ложками. Что не так, отец ложкой в лоб — хрясь! — наука. Зато и жили как — семьей! А теперь что? Один, двое. «Тебе супчику налить? — Не хочу! — Колбаски положить? — Не хочу!» Тьфу! И здоровья нет…

Ведь вот Ленин что говорил? «Без народа не решай!» А тут что? Корову держишь, а косить нельзя — не твое. Так коси сам! — «А мне не надо!» Ну, чисто собака на сене, и все тут! Кур не держи. Почему? — «Хлебом кормить будешь». Вот куда хлеб-то переводится — на моих восемь куриц да на петуха. А когда эшелоны идут черт-те куда, то ничего.

Хозяина нету, хозяина. Ведь вот Лев Толстой, он с крестьянами дружил. Вы думаете, у нас в России дураков мало? У-уу! Вот ежели сейчас двести лет дураков не рожать, так их еще на пятьсот останется! Верно я говорю?

Вот вы думаете, что за шарлатан такой, а я музыкальный работник. У меня сын окончил по классу баяна, теперь в Волгограде. А дочка-то институт окончила.

А вы что, рисуете, да? Тоже, значит, художествами увлекаетесь? А зайдемте ко мне в дом — я вам сыграю. Вы заходите, не стесняйтесь, вот садитесь.

Это пианино у меня — сам срубил. Корпус березовый, доски

два года сушил, а уж нутро-то было. Вот только настроить надо. А это баян у меня старинный. Ведь я все по слуху, нот-то почти не знаю. А у сына моего слуха нет, хоть ноты и знает.

Вот послушайте — «Дунайские волны»… Ведь их как учат? Правая рука одним пальцем.

Я говорю: «Коля! А чего ты всей рукой не берешь? Маслом каши не испортишь!» — «Нет, батя, надо по нотам!» А по нотам — сухота одна — вот, послушайте… Вот… Ну, это хорошо по-вашему? А я вот без нот как… Ведь я же из мелодии не выхожу, если надо в терцию или там в октаву…

Или вот немецкий фокстрот, у пленных немцев перенял, вот послушайте… И что интересно — красивое место тут… а тут обрывается, и вот… Что это по-вашему? Ну, еще раз послушайте… Кукушка! Ку-ку — и улетела, и пошла мелодия… А вот шире пошло, а потом обратно обрыв… и слушайте — ку-ку, и опять улетела… Красиво…

(Жена: «Опять про свою кукушку заладил!»)

Да, вот я с детства так. Как музыку заслышу, так для меня все тут. А вы, значит, рисуете? Меня нарисовать? А приходите завтра! Я вам играть буду, а вы меня рисовать будете…

Ночной попутчик

Переславль, 1965 г.

Давайте-ка я вас провожу остановку, вдвоем все веселее, автобус боле не пойдет, а вы до Дома творчества за полчаса дотопаете.

Я вот сегодня в военкомате был, собирают нас. Взрослым мужикам в войну поиграть охота маленько.

А вы, значит, художник, значит, интеллектуал, лучше меня поймете. Художники на эмоциях живут. Технари — те суше, они умные, конечно, но художник скорее поймет, что я сейчас вам скажу. Художник чувством живет, хоть и умом, но чувством больше.

Вы, наверное, помоложе меня, мне вот сорок шестой пошел. Сколько? Да ну? Не шутите? Ну, правда, сейчас темновато, да и лицо у вас под маской скрыто: очки, борода, кепка — не разберешь.

Я вот что хочу сказать: у нас сейчас наступает время кризиса. В каком смысле? А в том, что жрать нечего, Москва — и та колбаску не каждый день видит… А ведь вся страна на нее работает, на Москву-то, а остальным-то что? Хрен без масла? Мне племянник с Тамбова пишет: макарон нет, сахару нет, крупы нет, на одних помидорах сидим, а как кончатся, тогда что? У нас в Переславле-то еще благодать — и сахар, и макароны, маргарину полно, на той неделе масло давали. Да и Москва рядом, сел в машину да и навез продуктов на неделю, за день обернулся. Мы-то близко, а то и с Рязани едут, и с Ярославля, и с Ростова — жить-то надо!

Ведь вот народ-то избаловался, работать не хочет. А почему? На то глубокие причины. А вас как звать-то? А по отчеству? А, ну тогда все ясно. Но это ничего. У нас все национальности равны, не об этом речь.

Я вот в молодости тоже в милиции работал. Потом ушел. Сам рапорт написал: «не хочу против своей души идти». Нам дадут приказ, мы идем у мужика сено изымать. Он где-то накосил — нам письмо-заявление от соседей. Мы реагируем. Я прихожу, штрафую, сено арестовываю. Мужик на меня с косой, я говорю: «Забери косу, а то я тебя застрелю»… Вот так скот-то и свели, кормить-то нечем, косить негде, все распахано, все земли заняты, а где просто гниет.

Или другой пример. Я вот в радиоателье работаю,

радиоинженер. К нам заявка приходит на ремонт телевизора. Иду я по адресу, дед меня встречает. Посмотрел на меня и говорит: «Телевизор у меня в порядке». На другой день опять заявка с того же адреса. Начальник меня вызывает: «Что такое?» Я говорю: «Может, ошибка какая? Я же вчера там был». — «Снова иди, заявка поступила, разберись и больше мне нарядов не порть».

Я прихожу — тот же дед. Я говорю: «Дед, ты что мне мозги пачкаешь?»

Раскрыл телевизор, два анода подпаял, квитанцию выписал: вызов — рубль, ремонт — два тридцать, подпишись.

Ну, дед расплатился и говорит: «Тут у меня были ваши Рамзин и Максимов. Один пришел как общественник электропроводку смотреть, другой — общественник-противопожарник. Так противопожарник у меня в трубе сухари нашел, а другой в сарае свинью обнаружил. Мне штраф 50 рублей. А у меня пенсия 30 рэ. Как же я мог тебя до телевизора допустить?»

Ну, а я этих ребят знал по милиции, я им потом говорю: «Что ж вы, паразиты, делаете?»

А они: «Заявление поступило насчет свиньи и хлеба, а наше дело — выполняй».

Вот так я и ушел, потом в Москве на юрфаке учился. Бросил.

Это я вам все говорю, потому что я немного поддатый, алкоголь, он иногда полезный, сосуды расширяет.

Вот опять же я про главное. Что-то зреет у нас, кризис, значит. В «Советской России» читали статью: тому, кто скотину держит, давать гектар земли? Это что? Это зачатки НЭПа возвращаются. А ведь гектар земли не просто держать. Я вам сейчас цифру скажу: триста тысяч поголовья прибавили, а полтора миллиона частного сектора уничтожили. Вот Москва колбаску-то и реже видеть стала. Надо выход искать. Кровь прольется, этого не миновать. Помяните мое слово.

Вон в Польше что делается, там частному сектору гайки крепко закрутили, вот и дела пошли. Ярузельский выступал. Это ведь у них обновление начинается.

У нас технику самолучшую за границу гонят, а Ваня на старом тракторе без запчастей сидит, как рабочая скотинка, а на новых негры работают в Анголе, а негр он и есть негр, ему хоть любой трактор подай, ни хрена он на нем не наработает, мать его в гроб!

Это я поддатый немного, пива выпил сосуды расширить.

А вы теперь вперед идите, и будет Дом творчества. Будь здоров, Лева дорогой, спасибо за беседу.

Опасная профессия

Лопухин Александр Ефимович, художник-акварелист из Москвы, 82 года. Дзинтари, Дом творчества, 1979 г.

В начале тридцатых годов в «Московской правде» появилась заметка о том, что, мол, наши художники не рисуют и не отражают нашу новую строящуюся Москву, а занимаются пейзажами со старыми деревеньками, и что это нехорошо.

Нас всех тогда собрали в МОСХе, а было нас порядка трехсот пятидесяти человек, зачитали статью и предложили начать отражать строительство новой Москвы.

Ну, а мы-то знали, что за маленькие наброски на улицах моментально хватали и тащили в милицию, особенно усердствовали пионеры. Любой человек, «рисующий объекты» на улице — шпион, а слава Павлика Морозова была тогда высока.

Через несколько дней нам показали отпечатанные на веленевой бумаге с золотом мандаты на право зарисовок в Москве с данными ф.и.о., печатью и т. д. Началась свалка: кому давать, кому не давать. Кто в доверии, а кому лучше воздержаться. Наконец был утвержден список на совместном заседании правления и парторганизации и распределены объекты. На руки мандаты не дали. Мы спросили: «А как же?» — «Не беспокойтесь, вот у нас сидит товарищ, он вам все обеспечит — скажет, когда, где, кому и что рисовать, точный день и час зарисовки». С тем и разошлись.

Дальше началось следующее: Кремль никто брать не хочет — опасный объект. Наконец, после долгих переговоров Кремль взял себе парторг, показал пример, а мы все стали ждать: как он? На следующий день звоним ему — нет его, на другой звоним, на третий — исчез человек. Ну, а нам идти рисовать все равно надо — рисунки заказные, а тогда это было редкостью, кормились кто чем.

Так и я пошел рисовать на Яузу. Вышел к домику сельского типа, сидит там хозяин, мужичок с босыми ногами, ногу за ногу заложил, пальцами шевелит на солнышке. Спрашиваю:

— Можно, я тут присяду, порисую с вашей веранды?

— А пожалуйста, валяй, рисуй. С нашим удовольствием.

Вот в таких царских условиях, сидя на веранде при мягком солнышке, я сделал часа за два большой лист с видом на новостройки, Бородинский мост и Яузу. Получилось хорошо. Я, очень довольный, поблагодарил хозяина, лист сунул в папку и

пошел.

Вышел по гребню высокого берега по направлению к мосту, отошел с километр и ахнул: ну до чего же красиво! Чистый Пиранези! Вытащил новый лист, хотел начать, а внутренний голос мне подсказывает: не начинай, не надо! Сбереги, что есть! Уходи домой!

Но красиво вокруг — глаз не оторвешь! Я оглянулся несколько раз кругом — никого. Вынул тушь, вынул перо и, не касаясь бумаги, несколько раз провел ручкой в воздухе. Оглянулся еще раз — никого! Тогда я вздохнул с облегчением и начал рисовать. Сделал два-три штриха — по бокам два архангела.

— Гражданин, пройдемте!

— Я художник, у меня мандат…

— Пройдемте!

Пошли. Приводят меня в милицию.

— Вот — рисовал.

Молоденький начальничек там в форме, наверное, умывался — нос, щеки вытирает, уши прочищает.

— Ну что же, будем составлять протокол.

— Да я художник! Работаю по заказу МОСХа! Строительные объекты Москвы.

— А кто у вас в МОСХе начальник?

— Председатель МОСХа Александр Герасимов.

— Вот пускай ваш Герасимов напишет нам обоснования ваших действий, а наше начальство на этом заявлении и согласно нашему протоколу наложит резолюцию. Вы не беспокойтесь, все будет в порядке.

Ну, что делать? Написал он протокол, берет мои листы, сгибает их вдвое, разглаживает ладошкой, потом вчетверо — и скрепкой к протоколу.

— Что же вы делаете?

— Как что? Должен же я вещественное доказательство приложить к протоколу!

— Это произведение искусства! Вы же все испортили! Вы будете отвечать за это!

— Гражданин, вы не волнуйтесь. Раз вы так разволновались, то пожалуйста.

Взял рисунок, развернул, вынул толстую папку документов из ящика стола, запихнул мой лист. Края не влезли, так он их загнул к центру, а сверху плюхнул свою пачку документов.

— А теперь идите к своему Герасимову, пусть он вам даст соответствующую бумагу, придете к нам и, если начальство разрешит, получите свое произведение. Не волнуйтесь.

Я на всех парах в МОСХ. Прибегаю к Герасимову — так мол и так. У самого сердце прыгает.

Он говорит:

— Что ты волнуешься? Иди вниз к машинистке, пусть напечатает с твоих слов то, что нужно, а я подпишу, и конец делу. А ты вон сам не свой. Пришел живой, здоровый. Парторг — так тот вообще не вернулся…

Я к машинистке. Растолкал очередь сгоряча, напечатала она мне, я единым духом назад, к Герасимову.

— Ну вот, — говорит Герасимов, — а ты волновался. Сейчас я твое заявление возьму, положу под стекло на видное место, на первом же заседании правления обсудим, примем решение, я подпишу, и делу конец.

Так с тех пор сорок пять лет я жду, когда мне это заявление подпишут.

Да, если бы собрать все рисунки и этюды, которые у меня забирала милиция на месте преступления, у меня бы собралось на хорошую персональную выставку.

Ухо Готвальда

М. С. Кондрашова, скульптор. Москва, 1968 г.

В марте пятьдесят третьего года меня разбудил телефонный звонок. Я включила настольную лампу, скользнула глазом по часам — полтретьего — и взяла трубку.

— Кондрашова Мария Сергеевна? — мужской энергичный голос.

— Да, Кондрашова. Какого черта вы…

— С вами говорят из управления охраны Кремля. Нам сообщили, что вы хорошо снимаете маски с покойников. Вы подтверждаете это?

Еще не разобрав, что к чему, спросонья я подумала: бред какой-то! Охрана Кремля, маска, ночь… Розыгрыш? Кто-то из друзей треплется так неуклюже? Однако голос был мне незнаком. Что-то в интонациях заставило меня окончательно проснуться.

Я подтвердила: да, есть опыт.

— Через двадцать минут за вами придет машина. Возьмите все, что нужно для работы, и будьте готовы.

Раздались гудки. Первая мысль — за что? Может быть, за анекдот? Или на собрании что-нибудь не то брякнула?.. Нет, не то… Может быть, летом в Крыму, тогда хорошо поддали, трепались много… Нет… И потом, маска… Вроде бы так, заранее, не предупреждают.

Я оделась, приготовила гипс, инструменты собрала в сумку и села в прихожей.

Ровно через двадцать минут раздался звонок. Вошел высокий майор, вежливо представился, спросил, все ли у меня в порядке, все ли готово для работы. Внизу ждала машина, в которой оказалось еще два молчаливых спутника. Меня усадили между ними на заднем сидении, мой провожатый уселся рядом с водителем, машина тронулась, и мы помчались по ночной Москве.

В воротах Кремля нас остановила охрана, проверила документы. Мы въехали в Кремль, долго крутили и наконец остановились у какого-то темного двухэтажного здания. Там была вторая проверка, после чего мы поднялись по лестнице на второй этаж, прошли по тускло освещенному коридору и оттуда спустились в подвальное помещение. Уже трижды перед нами с лязгом и грохотом открывались и закрывались стальные двери, и наконец мы оказались в мрачном и очень холодном каземате —

морге Кремля. Посреди зала на темном постаменте лежал покойник под белой простыней.

Только здесь мой майор открыл рот и произнес:

— Вам нужно снять маску с лица Президента Чехословакии товарища Готвальда, который умер, простудившись на похоронах товарища Сталина.

Мне сразу полегчало. Значит, все действительно так, как говорили. Надо снять маску и тогда меня, может быть, сразу и отпустят.

В морге была ужасная холодина. Не снимая пальто, я приготовила воду, гипс и стала смазывать вазелином лицо. При первом же прикосновении обнаружила, что покойник был заморожен, может быть, даже несколько дней назад.

Я проложила на лоб, нос и губы капроновую нитку, быстро наложила разведенный гипс, через пару минут продернула нитку, потом, уже не торопясь, в ожидании полного схватывания гипса, заровняла края, почистила циклей поверхность и оглянулась.

Мои чекисты стояли на некотором отдалении точно по углам комнаты в полном молчании и не спускали с меня глаз.

Внутренне порадовавшись, что я все сделала правильно и аккуратно, начала снимать форму. Потянула ее на себя, однако форма не сдвинулась, видимо, ее присосало к лицу. Тогда я подсунула в щель стальную лопатку и нажала. Раздался какой-то странный звук, у меня екнуло сердце, форма поддалась и отошла. Я бережно сняла ее и к своему ужасу обнаружила, что она снялась вместе с ухом! Замороженное, остекленевшее ухо Готвальда треснуло и отделилось под моим нажимом!

Меня обуял ужас. Инстинктивно я резко наклонилась и заслонила телом злосчастную форму, не зная, что делать дальше с ухом бывшего генсека Чехословакии. Как объяснить, что я не нарочно? Пятьдесят восьмая уже светила мне синим огнем…

Все это в мгновение пронеслось в голове, а руки в это время работали. Я быстро выковыряла ухо из формы и приставила на старое место, слегка прижав. И ухо, чуть оттаяв, пристало!

Я оглянулась еще раз. Чекисты стояли, как статуи, в прежних позах и пялили на меня глаза.

Я прикрыла Готвальда простыней, мигом собрала все мои причиндалы и потребовала, чтобы меня немедленно отвезли в мою мастерскую, где я должна срочно сделать отливок маски, так требует технология, иначе форма пересохнет и развалится.

Обратный путь мы проделали вдвое быстрее. Я сделала отливок и отдала им маску с напутствием обращаться с ней бережно.

Когда они уехали, я бросилась на диван, и тут меня охватила

дрожь и истерика. Успокоилась я только через неделю после похорон Готвальда.

Рассказ натурщицы

Ленинград, 1971 г.

Выходим вечером из мастерской с натурщицей.

— Лев Самсонович! Смотрите, как трогательно!

— Что трогательно?

— Да вон машина с кольцами проехала. Свадебная. Правда, трогательно?.. А у вас была свадебная машина?

— Нет. А у вас?

— У меня нет. У меня по-другому было.

Пришел мой Сережка ко мне жить. Недели не прошло, как жильцы в административную комиссию настучали: почему живем незаписанные. Ну, пошли в ЗАГС, записались. Жильцам документы показали. Стали дальше жить.

Двух недель не прошло, жильцы снова настучали: почему живем непрописанные. Ну, прописала я его. Жильцам паспорт показали с пропиской. Вроде бы не к чему придраться. Успокоились, стали дальше жить.

Еще две недели прошло, обратно нас на административную комиссию тянут — пришла жалоба: зачем в ванной вместе

моемся…

Туалетная бумага

Владимир Ефимович Сагал, 73 года. Харьков, 1980 г.

Иду я как-то по улице. Вижу, из магазина выносят розовую туалетную бумагу. Я зашел в магазин и говорю:

— Я хочу купить туалетную бумагу.

Продавщица, девчонка, спрашивает:

— Вы инвалид войны?

— Нет. Я участник войны.

— Тогда вам не положено. Мы продаем туалетную бумагу только инвалидам войны. По предъявлении удостоверения.

— А кто может распорядиться, чтобы мне продали хотя бы два рулона? Мне очень нужно.

— Идите к директору универмага. Если он разрешит, я продам.

Поднялся я на третий этаж. Зашел в приемную. Секретарша спрашивает:

— Вы к кому?

— Я к директору.

— По какому вопросу?

Я подумал и говорю:

— По личному.

Ну, она подумала тоже и пустила меня. Вхожу в кабинет. За столом сидит представительный дядечка. Костюм. Галстук. Телефоны. Три штуки. Спрашивает вежливо:

— Вам что, гражданин?

Я говорю:

— Вот я участник войны. Хотел бы купить туалетную бумагу.

Он говорит:

— Мы участникам не продаем. Только инвалидам.

Я говорю:

— Я не только участник войны, я еще и ветеран партии с двадцать шестого года.

Он подумал немного и опять говорит:

— Но я не могу отпустить туалетную бумагу ветерану партии. Она у меня подотчетная. Под номер удостоверения инвалида войны. Как же я ее вам оформлю?

Я говорю:

— Я не только ветеран партии, я еще и первый председатель первого колхоза на Харьковщине. Про меня даже газеты писали.

— Да, я вижу, что вы действительно заслуженный человек… Что же мне с вами делать? Знаете, что? Напишите-ка мне заявление. И укажите все ваши регалии. Вот, садитесь за тот столик.

Сел я за тот столик, лист бумаги он мне дал, ручку. Сижу я за столиком и пишу: «Заявление от участника войны, ветерана партии с 1926 года, первого председателя первого колхоза на Харьковщине „Заветы Ильича“, участника Великой Отечественной войны Сагала Владимира Ефимовича. Прошу продать мне за наличный расчет два рулона туалетной бумаги». Подписываю и подаю. Число, год поставил.

Он взял, прочел все внимательно.

Я спрашиваю:

— Ну, что? Все?

Он говорит:

— Нет, не все.

— А что же еще писать?

— А вы не поставили ваш адрес и когда по нему прописаны.

Я поставил адрес и прописку.

Он взял, перечитал еще раз и на углу написал: «Разрешаю продать В. С. Сагалу в виде исключения 2 рулона туалетной бумаги». И подписал.

Вот с этим заявлением я спустился на первый этаж, отдал продавщице, заплатил двадцать копеек и получил свои два рулона розовой туалетной бумаги.

Крыша

Соломон Эпштейн. Петербург, 1994 г.

Вот, видите крышу из окна? С ней связана интересная новелла.

Просыпаюсь я как-то утром в мастерской и не могу ее узнать. Все вокруг залито каким-то желтоватым туманом, как будто я в аквариуме оказался. Пол, потолок, стены сами собой перекрасились. Картин своих не узнаю — все в желтоватом флере…

Что такое? С ума я сошел, что ли?

Вскакиваю, бросаюсь к окну и — о ужас! Крыша напротив за ночь перекрашена лимонной краской и бликует, рефлексирует напрямик ко мне!

Что делать? Писать не могу, все цвета изменились до неузнаваемости.

Звоню в исполком. Там ничего не понимают, дают разные телефоны. Объясняю, рассказываю. На другом конце либо чертыхаются, либо вешают трубку. Два дня провисел на телефоне, на третий стал ездить по инстанциям. Объясняю:

— Я художник. Напротив крыша. Крышу покрасили лимонной краской. Поэтому не могу работать. Нельзя ли перекрасить крышу?

— Крыша напротив?

— Да.

— Поэтому работать не можете?

— Да.

— Почему?

— Из-за рефлекса.

— А с вашей крышей все в порядке? А с рефлексами как? — так участливо спрашивают.

Полный тупик. Ухожу, прекрасно понимая тщетность своих попыток. Ну, кто же будет перекрашивать крышу жилого дома из-за того, что мне не тем светит?

Сижу дома весь в тоске и желтых бликах. Куда обратиться?

Кто-то посоветовал: обратись в тот райбумпромстройтрест, который эту крышу красил. Безнадежное дело, и ежу ясно, но все же поехал.

Приезжаю, поднимаюсь на второй этаж в приемную начальника. Секретарша говорит:

— Присядьте, у начальника производственное совещание.

Сел я на кончик стула, а из-за двери громовые звуки — кому-то на ковре крепко мозги чистят. Чувствую, зря приехал, плохо мое дело.

Дверь открывается, вылетают потные, красные строители, а из кабинета вслед несется отборный русский фольклор. Потом появляется сам. Такой типичный туз при исполнении. Высокий, толстый, при галстуке. Орлиный взгляд на меня:

— Это кто?

Секретарша:

— Это к вам, Николай Степанович!

— Что надо?

— Художник. Окна на крышу. Покрасили лимонной краской. Все залило желтым. Работать не могу. Нельзя ли перекрасить?

Все сказал, поднялся, чтобы сразу к выходу.

— Адрес?

Падаю назад на стул. Ушам своим не верю. Адрес не могу вспомнить…

— Большая Пушкарская, 48.

— Катя, запиши. В какой цвет перекрасить?

Я в шоке. Названия красок забыл. Только стронциановую помню.

— Ну, идеально было бы в белый…

— Белого нет. Есть сурик и окись хрома.

— Окись хрома, окись хрома!

— Все. Можете идти.

Вернулся домой, валидол принял. Думаю: чушь все это, сон какой-то, ну не может же этого быть…

И что ж вы думаете? Через три дня перекрасили! В светло-зеленый! Вот в этот самый! Полюбуйтесь!

Неловкое положение

Юрий Иванович Будыко. Сентябрь 1963 г.

В дни моей молодости я был вхож в один крайне добропорядочный и высокоинтеллигентный дом. Это была семья, в которой профессура неизменно переходила из поколения в поколение и дала русской науке немало славных имен. Меня привлекали в этом доме изысканность отношений между домочадцами, старомодная обстановка и бережно-почтительное отношение к семейным традициям.

Так, например, на стенах гостиной и столовой висели портреты в темных рамах — на них были изображены прародители хозяев дома начиная с восемнадцатого века, причем каждый впервые знакомящийся с этой семьей отмечал удивительное сходство носов, ртов и высоких лбов у персонажей картин и обитателей квартиры.

Я дружил в ту пору с сыном профессора Володей. Это был талантливый молодой человек, который как-то выходил за рамки принятого в семье стиля из-за сумбурности увлечений и алогичности поступков. Он доставлял немало огорчений родителям, которые пророчили ему научную деятельность, а он периодически увлекался то стихами, то фотографией, и самое верное, что могли сделать родители — это предоставить ему полную самостоятельность.

На почве увлечения черно-белой фотографией и проходила наша дружба, а кроме того, Ирина Павловна очень поощряла наше знакомство, так как считала, что я со своей усидчивостью и работоспособностью оказываю благотворное влияние на Володю.

С той же целью в дом незаметно и тактично была приглашена Аня, девушка из хорошей семьи, особа уравновешенная, начитанная и не по своим семнадцати годам серьезная. Она была дочерью профессора, соседа по даче в Академическом поселке в Токсово.

Володя увлекался фотографией всерьез и с полной отдачей (впрочем, по-другому он увлекаться не умел). Он первый из знакомых мне фотографов начал экспериментировать со съемкой с неожиданного ракурса — его «Серия ракурсов», помню, поразила мое воображение. Кроме того, он занимался микросъемкой, изобретал насадочные кольца, всячески усовершенствовал свой аппарат, конструировал телеобъектив, составлял свои рецепты фотохимикалий.

В связи с фотографией мне вспоминается случай, который до сих пор повергает меня в краску стыда, потому что я тогда попал в неловкое положение.

Я пришел утром к Володе и, узнав, что его нет дома, попросил разрешения у Ирины Павловны его подождать. Я сел к его столу и решил посмотреть последние фотографии, которые, как я знал, хранились в ящике стола и к которым у меня в любое время был совершенно свободный допуск.

Открыв ящик, я вынул три больших пухлых конверта.

В первом были пейзажи. Не говоря о безукоризненной технике, они были сделаны рукой художника. Сам выбор тем, точек съемки говорил о вдумчивом отношении к объекту и композиции, он пытался раскрыть в простом пруде, поросшем ряской, его лирический смысл, какое-то очарование, музыку, что ли…

Во втором конверте были цветы. Это были эффектные снимки с использованием утренних лучей солнца, косого освещения и капелек росы. Крупные, во весь лист тридцать на восемнадцать, розы, ромашки, колокольчики, — все это вызывало какое-то удивительное ощущение лета, солнца и запаха этих цветов, а кузнечики на стеблях и мохнатые пчелы в тычинках цветка дополняли впечатление живого.

Еще во власти обаяния чудесных цветов, я вынул фотографии из третьего пакета и замер в изумлении. На всех двадцати — двадцати пяти листах были изображения прелестных ню на пленэре. Все это было снято с чистотой и непосредственностью молодости, ни на одном снимке вкус не изменил фотографу — все было целомудренно, строго и прекрасно. Умелое обращение с источником света, тонко использованное сочетание белого тела на фоне сознательно нерезкой, смазанной листвы дало великолепные эффекты красоты и пластики юного женского тела.

Моделью для всех ню была Аня…

Оторопелый, я сидел некоторое время без движения, а потом, искренне сожалея о том, что подсмотрел то, что мне, по всей вероятности, видеть не полагалось, я лихорадочно собрал все фотографии и сунул их в ящик стола.

— А Володи все еще нет, — сказала, входя, Ирина Павловна. — Вот и Юра его ждет, посидите вместе.

И она пропустила вперед себя Аню, которая весело со мной поздоровалась и моментально сунулась к ящику стола — я не успел его закрыть.

— Что вы смотрели? Новые Володины фотографии? Я тоже хочу! Ирина Павловна! Идите сюда! У Володьки куча новых фотографий!

Она вытащила первые два пакета и высыпала содержимое на стол. Ирина Павловна, собиравшаяся уходить, вернулась и, подойдя к столу, начала с интересом рассматривать кучу снимков, выбирая наиболее интересные и восхищаясь вслух.

— Ах, как хорошо! Правда, хорошо, Юра? А это? Анечка, посмотрите — вы это видели? И этот пейзаж с лошадью Володя мне тоже не показывал!

Я стоял рядом со столом, весь красный, мучительно пытаясь что-то придумать, чтобы спасти положение, становящееся угрожающим. Аня быстро перебирала фотографии, смотрела, восхищалась и сортировала их по конвертам. Затем с возгласом: «О, так тут еще один есть!», она выхватила из ящика третий конверт…

Не придумав ничего более умного, я превозмог мучительную нерешительность и, подхватив Ирину Павловну под руку, резко повернул ее спиной к столу и громким развязным тоном сказал:

— Дорогая Ирина Павловна! Еще с прошлой недели я ношу в своем сердце воспоминание о вашем обещании еще раз напоить меня чаем с вашим изумительным вареньем из крыжовника!

— Что с вами, Юра? — только и могла произнести Ирина Павловна и медленно направилась со мной под руку к двери.

У двери я оглянулся. Фотографии третьего пакета лежали перевернутыми рубашками вверх, а пунцовая Аня пристально смотрела в окно.

Я сидел на веранде, обжигаясь чаем и давясь вареньем из крыжовника, которое было в изобилии подано на стол. Сославшись на срочное свидание, я удрал, оставив Ирину Павловну в недоумении.

Долго я избегал встреч с Аней, хотя, как ни странно, с этого дня я вдруг обнаружил, что она поистине прелестная девушка.

Пути господни неисповедимы

По-разному сложилась судьба моих друзей, вместе со мной закончивших ЛВХПУ в 1953 году и получивших распределения в разные концы необъятной нашей родины.

Наибольший успех достался моему другу Вите Круглякову, которого судьба закинула в столицу Киргизской Союзной Социалистической республики, город Фрунзе.

Кто бы мог подумать, что с первых же его творческих шагов во Фрунзе случай предопределит его статус и дальнейшее безбедное существование последующих сорока лет!

Подарку фортуны предшествовала другая история. Наш учитель, скульптор Роберт Карлович Таурит, вместе с народным художником СССР Вениамином Борисовичем Пинчуком в 1952 году получили Сталинскую премию за большую скульптурную композицию «Ленин и Сталин в Горках». Это произведение закупил ЦК партии Киргизии для здания Верховного Совета. Гипсовую скульптуру в полторы натуры величиной бережно запаковали в четыре специально изготовленных ящика, переложили стружкой отдельные части и отправили заказчику.

По прибытии скульптуры во Фрунзе собрать ее воедино было поручено местному киргизскому скульптору, который, провозившись месяц, представил готовое изделие идеологической комиссии ЦК для приемки и дальнейшего установления его на специальном подиуме в актовом зале Верховного Совета.

Высокохудожественное произведение талантливых ленинградских мастеров вызвало всеобщее одобрение высокой партийной комиссии. Гипсовый Ленин с доброй улыбкой, слегка откинувшись на спинку скамьи после тяжелой болезни, внимательно слушал гипсового Сталина, который, держа знаменитую трубку в правой руке, левой ласково обнимал спинку скамьи, символически поддерживая неокрепшего вождя и одновременно вводя его в краткий курс событий и свершений в любимой ими обоими стране.

Комиссия приняла работу, похвалила талантливого киргизского умельца и собралась было уже уходить, как вдруг один из ее членов задал неожиданный и очень неприятный вопрос:

— Позвольте. Одну минуточку… А разве Владимир Ильич ходил когда-нибудь в русских сапогах?

Началось смятение. Высокая комиссия замолчала на минуту, тараща испуганные глаза на гипсовые сапоги Владимира Ильича. Что-то было не так! Тем более, что Сталин, всегда носивший

русские сапоги, почему-то оказался в ленинских брючках…

Скандал разрастался. Кто-то из членов заявил, что по его мнению и с руками что-то не так, а другой бестактно вспомнил, что опубликование скульптуры приурочено к открытию очередного съезда партии Киргизии через полтора месяца…

К ответу потребовали побледневшего киргизского умельца, который на смешанном от волнения русско-киргизском языке бормотал что-то несуразное и непотребное про разные ноги и одинаковые шарниры…

К тому времени Сталина не было в живых уже три месяца, но дело его жило.

Перепуганная и разгневанная комиссия постановила: 1. Сомнительную скульптуру немедленно убрать в охраняемый склад, расположенный на территории воинской части. 2. Умельца схватить и передать органам для выяснения, случайно ли он перепутал отдельные члены вождей или по злому умыслу для дискредитации великой дружбы Вождя мирового пролетариата с Отцом народов. 3. Всю историю с разноногой скульптурой совершенно и абсолютно засекретить.

Оставался неразрешимым мучительный вопрос — что ответить ЦК по поводу долгожданного памятника в торжественный день открытия съезда.

Вот тут-то, в этот сложный и опасный для республики час и появился на киргизском партийном небосводе ангел-спаситель в лице молодого, энергичного, полного сил и творческих замыслов скульптора Вити Круглякова.

Он деловито и умело приступил к переделке: разобрал всю скульптуру, переставил ноги, подправил руки, обработал швы и через неделю сдал работу в полном блеске высокой комиссии.

Благодарная комиссия не осталась в долгу. Витю скоропостижно приняли сначала в Союз художников Киргизии, а затем и в партию, и в дальнейшем он безбедно жил в течение сорока лет до горбачевской перестройки.

Референт Фурцевой

Июнь 1964 года. Переславль Залесский.

Мы с Васей находимся на творческой даче имени Кардовского в сборной группе скульпторов из Москвы, Ленинграда и других городов России. Мы ведем замечательную, райскую жизнь. Нас кормят, поят, дают мастерские, оборудованные станками, и натурщиков из Москвы. И все это бесплатно, за счет Союза художников Российской Федерации.

Дача, бывшее имение известного художника Дмитрия Николаевича Кардовского, — несколько деревянных домов, окрашенных в красно-коричневый цвет, — расположена в обширном саду с высокими липами вдоль забора. На верхушках лип — множество гнезд галок, которые поднимают громкий базар с каждым рассветом до полной темноты.

У нас полная свобода действий. Каждый скульптор может работать в натурном зале или заниматься собственными композициями, или отправиться гулять по городу с его многочисленными соборами и церквями — памятниками русской старины.

В свое время Кардовский завещал свое имение в Переславле живописцам, членам Союза художников РСФСР, и облагодетельствованные живописцы привозили на выставки множество этюдов с пейзажами города. Через несколько лет президиум СХ СССР во главе с В. Серовым отобрал дачу у живописцев и передал скульпторам: «эти крестов не принесут». Изображение церквей с крестами — опиума для народа — стало раздражать и беспокоить высшее начальство. На скульпторов в этом отношении можно было положиться — крестов они не несли, а возросшее количество этюдов с обнаженной натурой можно было легко регулировать местными выставкомами.

Директор дома творчества Василий Васильевич Чапаев, по слухам бывший полковник, соответствовал своему знаменитому однофамильцу не только паспортными данными, но и манерой поведения: любил порядок и не уставал учить молодых скульпторов уму-разуму: выговаривал за курение в помещении, за появление на территории дачи лиц в нетрезвом состоянии и особенно (это был его конек) за не заправленные по ниточке кровати. Провинившихся он вызывал на ковер и «имел с ними беседы». Его приказы и разносы все принимали спокойно, как необходимый довесок к вкусному пирогу. В творческий процесс

он не встревал — и на том спасибо.

Сразу же по приезде на дачу мы с Васей решили вызвать сюда из Москвы нашего сокурсника по училищу Штиглица Юру Антонова. Юрка, близкий и дорогой нам человек, книгофил и способный график, с которым два мешка соли было съедено, часто писал нам в Ленинград, сетовал, что остался в Москве без друзей.

Позвонили Юрке.

— Привет! Не хочешь ли ты порисовать старинную русскую архитектуру?

— Ты откуда говоришь?

— Мы в Переславле, в доме творчества. Приезжай! Мы тебе организуем койку и трехразовое питание на несколько дней.

— А что, есть свободные места?

— Мест нет, но мы что-нибудь придумаем. Скажем, что приезжает крупный чиновник из министерства культуры. Заодно увидимся, поговорим, помянем Штиглица… Ну, как? Уговорили?

— Почти. Надо подумать.

— А ты не думай много. Ты нас видеть хочешь?

— Хочу! Все понял.

— Ждем! Захвати папку для рисования.

— Обижаешь, начальник!

Через два дня мы встречали Юрку на автобусном кольце Переславля. С первого же взгляда было понятно, что лучшего персонажа на роль крупного московского чиновника мы и не могли придумать. За то время, что мы не виделись, он заметно пополнел, заматерел, вид имел строгий и вальяжный, одет был в добротный костюм, на носу очки в роговой оправе.

— А ну, подать сюда Ляпкина-Тяпкина! — провозгласил Юрка, вступив на переславльскую землю, и пропал в наших объятиях, хлопках по спине и возгласах радости: «Ох, и толстяк же ты стал!» — «От дурака слышу!» — «Сам дурак!» и т. д.

Закончив ритуал встречи, Юрка посерьезнел, нахмурил брови и озабоченно спросил:

— И кто же я? Чтоб я знал. На всякий случай.

— Ты, на всякий случай, референт Фурцевой.

Юрка присвистнул:

— Ни хрена себе!.. А у вас никого пониже рангом не нашлось? Что я должен делать?

— Ничего. Ребята в комнате предупреждены, до остальных слух дойдет. А с начальством мы справимся сами.

Юрка помедлил немного, помолчал, потом расплылся в улыбке:

— Ладно. Валяйте!..

Мы повели его в дом через сад. Несколько человек, работавших в саду на пленэре, повернули головы в нашу сторону с любопытством. Слух о прибытии референта из Москвы расползался все шире, к нашему удовольствию.

Койку для Юрки удалось втиснуть рядом с моей, с помощью друзей. Мы пообедали и пошли показывать ему город. Было что показать!

Город Переславль как нельзя лучше соответствует своему имени. Расположенный на высоких берегах знаменитого Плещеева озера, того самого, где юный Петр начинал создание русского флота, этот славный городок состоит из деревянных домов, а также множества старых монастырей, построенных в 16-м веке на высоких зеленых холмах. Старые архитекторы хорошо знали свое дело!

Первым делом мы повели Юрку к Горицкому белокаменному собору. Он стоял на самой высокой точке Переславля, от которой простиралась вся долина до Плещеева озера и с любой точки открывалась широкая панорама с огромным выбором сюжетов. А впереди еще Юрку ждало знакомство с Даниловым монастырем, с шатровой церковью и другими красотами старорусской архитектуры, устоявшей в основных габаритах от полного разрушения и разорения за последние пятьдесят лет. Облупленные, зашарканные снаружи и заплеванные, загаженные внутри, старые соборы сохранили свои благородные пропорции и память о бывшем величии.

Ни минуты не теряя, Юрка раскрыл папку для рисования и пропал для нас как собеседник. Мы ему не мешали и тоже занялись делом, умножая быстрые наброски в наших рабочих альбомах.

После ужина мы вернулись в комнату и разлеглись на койках. Пора была отдохнуть после насыщенного событиями дня.

— А помнишь, как Иванов влепил тебе двойку за контрольную по математике? Помнишь, как я произнес пламенную речь в твою защиту?

— Конечно, помню! Еще помню, как он в ответ на твою речь сказал: «Разумовский! Я бы прислушался ко всем вашим доводам, если бы у вас за семестр высшей оценкой за математику не стояло три с минусом».

— А помнишь, как ты меня подначил «на слабо́» пройтись от училища до Русского музея босиком? Я сказал тогда, что мне не слабо́, никто, мол, и не заметит, что я иду по улице босиком, если, конечно, не привлекать внимания граждан. Ты согласился. А что дальше было, помнишь?

— Нет.

— Так я тебе напомню. Как только вышли на Садовую, ты завопил, как сумасшедший: «Граждане! Смотрите, какой большой дурак идет! Босиком идет по центру культуры! По славному городу Ленина! И ботиночки свои за шнурки несет!..»

— А помнишь, как ты незабвенные стихи написал:

Я
не хочу
играть
в искусство!
Если
не можешь,
сиди
и цыц!
Если
таланта
имеешь
негусто,
Ямы
копай!
А к искусству
не вись!

В дверь постучали.

Звук удивил нас. Стучать перед входом не было принято в нашей бесшабашной братской вольнице. Поэтому никто не ответил.

Дверь открылась. Вошел Чапаев. И прямо направился к Юркиной койке.

Мы замерли. Нас застали врасплох. Юрка, также как и мы, лежал в одежде, выставив ноги в носках на нижнюю раму кровати. Сейчас начнется крик.

— Ну, как вы тут устроились? — с очаровательной улыбкой спросил Чапаев.

— Нормально, — ответил Юрка, не меняя позы.

— У нас тут все по-простому, — заглядывая Юрке в глаза, заявил Чапаев. — Мы не смогли обеспечить вам отдельную комнату, но уж — он хихикнул, — как говорят, в тесноте да не в обиде! Зато с друзьями рядом… — кивок головой в мою сторону. — Уж извините…

— Я доволен, — процедил Юрка, не моргнув глазом.

— Вот и хорошо! — обрадовался Чапаев. — Мы тут стараемся… Если что, так обращайтесь прямо ко мне. А сейчас отдыхайте.

И вышел на цыпочках.

Не успела дверь закрыться, как вся палата грохнула разом. Задрав ноги кверху, схватившись за голову, ржал Толик Веселов; зарывшись в подушку, трясся Вася; неудержимо хохотал Леонард; мелко смеялся наш йог из республики Коми. Не ржал в палате только один человек — Юрка. Он невозмутимо лежал с каменным лицом, то ли войдя в роль, то ли задумавшись о последствиях.

Утром мы обычно вставали в семь часов — берегли рабочее время. Юрки в палате не было.

Я спросил у Васи:

— Ты не видел Юрку?

— Наверное, сидит где-нибудь уже два часа, рисует. Что ты, Юрку не знаешь? А вот и он, пропащий.

Пропащий, не отвечая, собирал свои вещи из тумбочки и укладывал их в дорожную сумку.

— Юра, ты что?

— Где у вас тут сады-огороды?

— В чем дело?

— Дорожки посыпали песком…

Мы выскочили в сад и ахнули. Все дорожки, а также вытоптанная площадка перед столовой были посыпаны мелким декоративным красным песком!

Такого эффекта мы не ожидали. Сад стал праздничным. Царила необычная для этого времени тишина. Даже галки от удивления смолкли, разглядывая незнакомый пейзаж.

— Юра, ну погоди, ничего не будет…

— Ну вас к едрене фене! — кратко изрек референт, пролез через дырку в заднем заборе и быстрыми шагами направился к автобусной остановке.

Будь здоров, папа!

Есть у меня две доченьки. Одна красавица и умница. Зато вторая — умница и красавица.

И каждая любит меня лечить.

Та красавица, которая умница, мелкими шариками меня потчует. Эти шарики очень быстро от всех болезней вылечивают.

Зато умница, которая красавица, в порядке соревнования принесла мне капсулы со странным названием «тиагамма».

Взял я прочесть аннотацию. Дальше строго по тексту:

Описание: мягкие желатиновые капсулы продолговатой формы без запаха. Фармакологические свойства: липоевая кислота эндогенно присутствует в организме. Токсикологические свойства: острая токсичность в экспериментах на животных низкая. Смертельная доза после внутривенного введения составляет около 400 мг/кг на крысах и 400–500 мг/кг на собаках при приеме внутрь. Высокие дозы препарата вызывают рвоту, слюноотделение и торможение. Смерти предшествуют тонико-клонические конвульсии.

Прочитал я эту бумагу и слегка призадумался.

Радует, конечно, что появился шанс. Все-таки, некоторые отдельные крысы выживают. После бурного слюнотечения и торможения.

Про собак этого, между прочим, не сказано. Собаки в периоде полураспада умирают отдельно в течение 10–20 минут в тонико-клонических конвульсиях.

Не перейти ли мне снова на шарики?

Будь здоров, папа!

Эротический триллер

Утром Лена проснулась в хорошем настроении, сбегала на аэробику и потом с обаятельной улыбкой сообщила мне:

— А у нас сегодня вечером гости!

— Кто же? — почуяв неладное, спросил я.

— Валя Тимофеева, — радостно сияя, сказала Лена, — она такая самоотверженная! Она придет, несмотря на такой мороз!

— Так, — сказал я, — может быть, не стоит надрываться? Особенно в мороз.

— Ее ничего не остановит, — сказала Лена. — Она такая преданная!

Я дождался вечера, оделся потеплее и вышел погулять. Мороз действительно был изрядный, и я с тоской подумал, что больше часа я не выдержу.

Невский был заснежен и красив. Снег приятно скрипел под ногами. Потихоньку, не торопясь, я дошел до кинотеатра «Паризиана», который был когда-то «Октябрем», и вдруг меня осенило — кино! Сто лет в кино не был!

На афише значилось: «Эротический триллер. Детям до восемнадцати вход воспрещен. Начало в девять часов». Я бросил взгляд на часы — без трех минут! Я рванул к кассе.

— Сколько стоит билет?

— Пять тысяч.

— Извините, — отпрянул я от билетной дырки.

— Гражданин! Пенсионерам скидка. Платите две тысячи.

Я очень обрадовался. Все-таки у нас самая гуманная в мире страна. Особенно правительство. Неустанно заботится о ветеранах труда. Каждый российский пенсионер вместо того, чтобы забивать козла или в одиночестве пить горькую, может повышать свой культурный уровень на эротическом триллере.

Пройдя в зал, я с удовлетворением убедился, что в своих патриотическо-социологичких размышлениях был прав. Половину зрителей в зале составляли старички-пенсионеры, если не считать две-три молодые парочки, которые, еще не дождавшись сюжета, начали неорганизованно жаться друг к другу.

Потух свет. На экране сразу появился голый зад в полэкрана, и старички дружно вздохнули. Я тоже вздохнул вместе с ними, чтобы не отставать от коллектива. После чего на экране развернулись захватывающие события. Кто бы мог подумать, что такое творится на этом жутком Западе! Полуголая красавица мерзавка Эдит бурно изменяла своему мужу, положительному профессору университета, красавцу Эдуардо, с его

отрицательным отцом Филиппо! И бедный Эдуардо, положительный профессор, вынужден был развлекаться со своими студенткам! От сочувствия и негодования я весь обрыдался…

Талантливый сценарист удачно и очень тонко применил контрапунктический прием, проведя параллельно личной драме Эдуардо, его воспитательную линию: он развлекался только с успевающими студентками, а тем, которые не сдали ему французскую поэзию восемнадцатого века, он отказывал во внимании, тем побуждая их к серьезным и углубленным занятиям.

Все это смотреть мне было очень противно, но я собрал всю свою волю и смотрел, не отрываясь, чтобы потом всем рассказывать, как мне было противно. Правда, иногда, сюжет увлекал меня остроумными режиссерскими находками. Например, мне показался интересным прием, когда на экране каждый последующий студенческий зад отличался от предыдущего по форме. Не говоря уже о содержании.

Триллер закончился хэппи-эндом. Вся семейка пришла к счастливому компромиссу, и я так и не понял, почему этот жанр называется триллером. Зажегся свет. Наша валидольная команда заскрипела костями и стульями, креслами и чреслами, закашляла, засморкалась и зашаркала к выходу. Трое ветеранов труда мирно спали в своих креслах, свернувшись калачиками. Проходя мимо, я вежливо постучал одному из них пальцем по спине.

— Доброе утро! Кино окончилось.

— Не будите их, — сказала билетерша, — они уже третий сеанс здесь спят. Им идти некуда. А на улице мороз.

Умиротворенный фильмом, я вернулся домой в половине двенадцатого, тихо, чтобы не разбудить Лену, открыл дверь и с порога услышал бодрые и повышенно веселые голоса Лены и Вали, горячо обсуждавшие последние новости и сплетни фольклора….

— Эх! — подумал я. — Все-таки сознание и гуманность отдельных граждан России сильно отстает от уровня правительства…

Маэстро

В 1959 году Вася вылепил мой портрет.

Как-то он заканчивал на станке проволочный каркас для новой работы. Дверь неожиданно распахнулась, и в мастерскую влетел Аникушин. Он всегда был быстрый, легкий — не ходил, а летал. Он подскочил к портрету и на секунду задержался.

— Разумовский? — спросил он.

— Да, — ответил Вася.

— Не похож! — сказал маэстро и испарился.

Секреты акварели

Я не знаю, что больше потянуло меня в Игналине к живописи. То ли удивительные ландшафты, то ли чувство полного раскрепощения и свободы от городских забот, то ли сильное желание увезти с собой аромат этого райского места, то ли неумение сидеть сложа руки. Наверное, все вместе. В городе я тратил полдня в толкучке транспорта на то чтобы добраться до природы в поисках интересного сюжета. Здесь, на хуторе, проблемы сюжетов не существовало. Один шаг от веранды — и оказываешься на вершине холма, откуда во все стороны открываются замечательные виды и простор до шести дальних горизонтов.

Очарование щедротами литовской земли было полным. Что же касается воплощения этой красоты в достойных произведениях, — с этим дело обстояло хуже.

Этюды маслом с натуры так или иначе передавали аромат разнотравья, холмистого пейзажа, закатов над озерами и ласковую камерную особенность этих славных мест. Акварель же мне не давалась. Я твердо помнил, что акварель должна быть прозрачной, легкой и светлой. Об этом писал художник начала века Лепикаш, творческий метод которого состоял из нескольких наслоений цвета по тщательно выполненному рисунку. У Лепикаша акварели получались. У меня — нет. Усилив по его методу локальные цветовые пятна, я терял прозрачность, попытки быстрого рисования по мокрой бумаге также не увенчались успехом — мокрые краски растекались и смешивались сами собой без подчинения, сбивая рисунок и вызывая мое огорчение.

Как-то в начале семидесятых годов кто-то из моих друзей посоветовал мне сходить на выставку акварелей Гаврилы Кондратьевича Малыша: «Тебе будет интересно».

Ничего не зная об авторе, я вошел в большой зал Союза и буквально обомлел у первого же стенда с пейзажами. Первое впечатление — это же масло! Причем же здесь акварель? Нет, это не масло… Может быть, темпера? Нет, это настоящая акварель! Только как он это делает?

Я был потрясен яркостью его палитры, звонкостью его пейзажей, цветовой роскошью его натюрмортов с фруктами и цветами, солнечным светом, рвущимся с его полотен. Еще больше я изумился, когда узнал, что все это изобилие пишется дома, по памяти, с оглядкой на быстрые наброски карандашом.

Те же друзья познакомили меня прямо на выставке с автором.

Я выразил ему свое искреннее восхищение его работами, набрался храбрости и спросил, в чем секрет его техники. Он заулыбался, поблагодарил и предложил придти к нему в мастерскую. Я с радостью согласился и через пару дней был уже около его мастерской на Васильевском острове.

Двери мне открыл сам хозяин.

В мастерской было много зелени, с первого же взгляда было ясно, что весь интерьер был любовно спроектирован и выстроен им самим. Он начал наше знакомство показом богатого столярного и слесарного инструментария. На многочисленных полках, сверкающих золотистым лаком, стояло множество книг по искусству, коллекция цветного стекла, коллекция гуцульской керамики. В мастерской царили идеальный порядок и чистота, заведенные и поддерживаемые мастером. Посреди комнаты стоял большой стол, накрытый стеклом, слева от него размещались коробки с красками и керамические кружки с кистями, справа стояла ванночка с водой. На стенах висели большие картины, написанные маслом. Автоматически я отметил, что по яркости красок они были на уровне акварельных.

— Ну а теперь я покажу вам «секреты», — с улыбкой сказал Гаврила Кондратьевич. — Нарисую при вас небольшую картинку. Все очень просто…

Из плоского ящика с ватманом он вынул четвертушку листа и несколько раз окунул ее в ванночку. В скобках, вся бумага хранилась у него в разных ящиках в расправленном горизонтальном положении (моя бумага хранилась в рулонах, и приходилось перед работой ее долго расправлять). Потом уложил ее на стекле, сбросил флейцем лишнюю влагу, подождал еще немного, низко наклонился к бумаге, видимо, чтобы убедиться в ее готовности, и не торопясь, начал трогать ее кистями.

Сразу определились два плана: задний ряд деревьев, освещенных контражуром, и передний, более резкий и более холодный, изображавший груду камней, разбросанных по диагонали. Картинка постепенно проявлялась, как фотобумага в проявителе, кисть в руке мастера легко и быстро танцевала по всей плоскости, соседние тона не доводились до слияния друг с другом, почти везде оставлялось некоторое пустое пространство, которое потом само собой заполнялось тончайшим слоем краски, расплывающейся по сырой бумаге.

Все это представление длилось ровно десять минут. Все было очень просто, всего три компонента: вода из крана, краски из тюбиков фабрики «Черная речка» и рука мастера — делов-то! Но какая свежая, какая радостная, какая весенняя картинка оказалась в моих руках! И сколько радости было подарено мне,

когда я впервые в Игналине начал применять в своих акварелях приемы и советы Гаврилы Кондратьевича!

Возможно, что в этом состоял один из главных приемов автора: краска наносилась в полную силу за один раз, при этом смежные тона не касались друг друга, сохраняя тем самым рисунок и композицию автора. В этом состояла его технология, его арсенал, который можно было перенять, которому можно было подражать с большим или меньшим успехом. Однако главный секрет его творчества состоял в ином, и перенять его было невозможно, даже если бы он сам хотел его передать. Этот секрет состоял в его свободном владении цветовой гаммой, присущей только ему, его вдохновению и таланту.

Письмо Маше в Игналину

Машуня!

Не успели вы уехать, как на другой день у нас появилась собака!

Дело было так: я сидел на кухне и пил чай. Пришла Танюха и сказала, что в нашей парадной спрятался от холода чудный пёсик, и мы должны его спасти. Я разжалобился, открыл дверь и позвал пёсика.

В дверь ввалилась здоровенная чёрная собачина, немного поменьше овчарки, и забегала по кухне.

Танька сказала:

— Правда, чудный щен? Он же такой молоденький! Лапушка!

Лапушка сел посредине кухни и стал бешено чесать блох. В основном, на меня. Потом лапушка съела миску борща с овсяной кашей. Танька сказала, что она будет с лапушкой гулять, и вообще ей будет очень хорошо у нас жить.

Легли мы спать. Лапушку заперли на кухню, потому что она ужасно чесалась и воняла.

— Слушай, — сказал я Таньке, — по-моему, лапушка немножко сильно пахнет…

— Да, я тоже чувствую. Давай её выкупаем в нашей ванне с шампунем.

Мы обдумали это предложение и отказались, так как щеночек без намордника наверняка бы нас съел, если бы мы засунули его в горячую воду, а кроме того, я не люблю купаться в ванне после собаки.

Ровно в шесть утра щеночек залаял, и я вышел с ним во двор. Он побегал, сделал свои дела посреди двора, и мы вернулись домой. Я сварил овсяную кашу с докторской колбасой, три четверти вывалил ему в миску, остальное взял себе. Он понюхал, и не стал есть. Я свою порцию съел с удовольствием. Потом я ушёл по своим делам, а когда вернулся часа в четыре, то не узнал нашей чистой, предшведовской квартиры.

В коридоре валялись обывки обоев, иллюстраций и… маминых нот!!!

Нижняя полка в коридоре, около ванной, была вся разгромлена и раскидана спасённой собачкой.

В комнате, возле твоего секретера, валялась куча бумаг, разбитые пластинки и разгрызенные «Сказки Андерсена»…

Ни Таньки, ни собачки дома не было.

Я стал разгребать квартиру, в этот момент явилась очень мрачная Танька, с моим брючным ремнём в руках.

— Где ты была?

— Гуляла с Джеком.

— А где Джек?

— Он убежал…

— Совсем?

— Совсем…

— Какое счастье! А когда же он успел устроить такой погром?

— Я была на кухне. А в комнате что-то шуршало. Я думала, что он играет… Он — такая лапушка!..

В этот момент со двора раздался крик дворничихи:

— Безобразие! Опять эта вечесловская собака наделала кучу посреди двора! Думает, если она народная артистка, так ей и кучи можно класть? Они тут гадят во дворе, а я убирай, да? Да я ей сейчас пойду и скажу!..

Я тихонечко закрыл форточку и отошёл от окна…

Целую тебя.

Папа

Письмо сестре из Игналины

Я сижу в раю среди зелени, свежести, озона, слушаю тишину и стрекотание кузнечиков и вспоминаю вчерашний день.

Он начался после полубессонной ночи, в 9.00, когда я сел в зубоврачебное кресло для того, чтобы быстро поставить пломбу и мчаться на Песочную набережную уговаривать худсовет приехать к нам в Лавру принимать работу, так как в этот четверг поездка к нам не планировалась. Одна пломба неожиданно для меня превратилась в три, а пятнадцать минут обернулись полутора часами, поскольку пломбы оказались сложными, с удалением нервов. Мне сделали укол новокаина, который связал мне губы и язык, и выйдя от врача в 10.30 (худсовет начинается в десять часов, когда намечается план поездок по городу), я поехал к сильным мира сего уговаривать, не будучи в состоянии разговаривать, однако по дороге новокаин немного рассосался, и я обрел возможность слегка шевелить губами, ярко накрашенными каким-то лекарством.

На худсовет я попал в 11.30, с трудом уговорив очередь пропустить меня для переговоров.

Высокий синклит проявил явное недовольство. «График составлен, где вы были раньше? Нет, мы не поедем, и так много заявок, мы не лошади…». Но в конце концов, члены совета посовещались и согласились приехать между пятью и семью часами. Окрыленный, кинулся домой, чтобы захватить в мастерскую книги и еду.

Дома застал такую картину: вся квартира завалена миллионом тряпок из а) кучи Машкиных вещей, привезенных из детского сада б) кучи Лениных вещей из экспедиции и в) кучи наших общих вещей, подготовленных для упаковки в Игналину, при условии разбора и подбора их из куч «а» и «б».

Посреди всего этого хаоса стояла Лена в состоянии полной прострации, с Машкиными трусами в одной руке и иконой, привезенной из экспедиции, в другой и слушала, раскрыв рот и очи, богословскую лекцию какого-то странного молодого человека, с бородкой, длинными волосами и глазами, глядящими в разные углы комнаты. На столе лежали бронзовые складни, оклады, иконы и иконки — трофеи экспедиции.

Я поздоровался. Молодой человек назвал себя Виктором и представился первым секретарем митрополита Никодима. Сам он в чине монаха, и его задачей, как он пояснил, является уговорить Лену пожертвовать икону ленинградскому владыке.

Тут уж и я обалдел. Много было у нас дома всяких пьяных и

несчастных женщин, приведенных ночевать на мой диван, бывали и музыкальные шизики, неврастеники, душескрёбы и истерики, но живого монаха ещё не было. Привёл его какой-то Ленин студент, недавно вышедший из Бехтеревки. Они о чём-то бурно спорили, монах Витя и бехтеревский студент. Витя, вроде бы, должен был купить какую-то икону для передачи в Церковище взамен той, которую привезла Лена.

Дальше мне слушать было некогда. Я бестактно прервал жизнеописание святого Луки, житие которого в данный момент обсуждалось, в связи с изображением оного в окружении шестнадцати серафимов, и сказал Лене:

— Я в мастерскую на худсовет. Приду часов в девять. Напоминаю тебе, что шестнадцать серафимов — цифра абстрактная, а вагон номер 12, отправляющийся в Игналину в 0 часов 8 минут — цифра вполне конкретная.

Лена посмотрела на меня, как через стекло, и ничего не ответила.

В мастерской я развернул работу, первый раз за день поел и растянулся на диване. Через пятнадцать минут пришёл Вася, удравший из «Самоцветов», и мы начали наводить марафет в мастерской к худсовету и поправлять работу. В четыре я выскочил на площадь позвонить из автомата Лене, так как мне не давал покоя вчерашний хулиганский инцидент во дворе. Было занято. Для страховки я решил вернуться в мастерскую — взглянуть, не приехал ли худсовет, что в принципе было невероятно, так как они обещали прибыть между пятью и семью… и уже издали увидел голубой зад худфондовского автобуса около мастерской!..

Вбежал в мастерскую я как раз, когда председатель худсовета Стамов Василий Гаврилович возмущенно допрашивал Васю:

— А где же Разумовский? Ведь мы же ему любезность сделали…

Тут я выскочил из-за спин и, переведя дух, выпалил:

— Разумовский здесь, за любезность спасибо. Давайте, мы вам покрутим работу.

Работу (портрет Калинина) приняли сразу, с мелкими замечаниями. Мы с Васей поздравили друг друга, я попрощался и ринулся домой, чтобы узнать, как идёт подготовка к отъезду.

В 16.30 я уже был дома. Монаха и студента из Бехтеревки не было. Один рюкзак был уже собран. Мы с Машей побежали в химчистку сдать зимние вещи, а заодно и в детскую поликлинику, где ей выдрали три молочных зуба.

Вернувшись домой, я застал ещё один собранный рюкзак, кучу Лениных студентов и Лену, названивающую по телефону:

— Вероничка, приходи! Будет очень интересный человек!

Леночка! Приходи! Будет священнослужитель!..

Гость пошёл косяком, среди узлов и чемоданов носились какие-то малоизвестные мне дети, Лена продолжала паковаться и искать периодически пропадавшие нужные вещи, бепрерывно звонил телефон, хлопали двери, пришли Оля с Алёной, Вероничка, с Таирой и Леночкой, гости сели за стол в напряжённом ожидании обещанного священнослужителя, было уже десять часов, а монах всё не приходил с купленной на обмен иконой. Пока что Лена предложила послушать привезённые ею из экспедиции записи песен цыганского табора.

Грянул хор цыган. Мы с Машкой пошли примерять Сюркиса в чемодан. Он туда сам запрыгнул и сидел в чемодане как миленький — единственное нормальное существо в этом сумасшедшем доме.

Раздался телефонный звонок. Лена ринулась к трубке, и по обрывкам тревожных и расстроенных вопросов-ответов, я понял, что монах Витька на взятые у Лены двадцать рублей напился до положения риз и придти не может, а об иконе и вообще нет речи…

Было уже около одиннадцати, когда наиболее трезвые гости выключили магнитофон и начали, под моим нажимом, перетаскивать вещи к выходу. Быстро свернули стол. Оля и Алёна вымыли посуду.

В 23.15 пропал Сюркис.

Машка взвыла.

Я поймал беглеца на лестнице, посадил в чемодан и сказал: «Выходим!»

Лена сказала:

— Подожди. Сейчас должна придти Леночка Беленькая. Она принесёт двухтомник Томаса Манна, без которого ехать совершенно немыслимо!

В 23.25 я молча начал выкидывать вещи во двор, с помощью Оли, Алёны и студентов. Во дворе мы наткнулись в темноте на Леночку Беленькую в обнимку с Томасом Манном.

Двинулись к автобусу. Из чемодана вдруг понеслось дикое мяуканье и утробное верещание. Машка снова взвыла:

— Папа! Он там задыхается!

Я опустился на асфальт на колени и прорезал ножом две дырки под вопли: «Осторожней! ты его зарежешь!», — и мы сели в автобус.

Приехали вовремя.

Ночь в поезде я проспал без таблеток.

Сюркис спал с Машей.

На хуторе тишина и благодать.

Целую вас.
Л.

Поездка в Пено

Приезжайте к нам в Пено! — позвонили наши друзья из Тверской области, где они купили старый дом с большим участком. У нас Волга рядом, комнат в доме пустых навалом. Поживите, отдохните, воздухом подышите.

Обрадовались мы — соскучились в Питере без воздуха.

Пошел я на другой день на Московский вокзал билеты брать на себя, Лену и Даньку.

Кассирша буркнула из окошка:

— Боковые полки возьмете? Других нету.

Я согласился.

Собрали мы три рюкзака и поехали на вокзал. В вагоне выяснилось, что полки наши не только боковые, но и верхние. На просьбу поменяться со мной местами никто из соседей не среагировал. На мою полку мне было не залезть. Сидеть мне было тоже негде, так как народ уже улегся и ноги протянул во всю длину плацкартной полки. В вагоне была духота, и я пошел в тамбур дышать свежим воздухом. Так я там и простоял с восьми вечера до часу ночи вместе с Леной, которая самоотверженно стояла рядом со мной до того момента, когда на одной из попутных станций освободилась нижняя полка. Мне удалось даже подремать на ней до пяти утра.

В Пено я тут же пошел на вокзал покупать обратные билеты. Выстоял небольшую очередь к кассовому окошечку и попросил три билета на поезд через десять дней.

— Плацкарты нет, купе нет, есть только места в общем сидячем вагоне.

Опять ночь не спать! Отказался я брать такие билеты, потом походил с полчасика вокруг кассы и решил все-таки взять их на всякий случай и, если повезет, поменять за час до отхода поезда. Кассирша сказала, что шанс есть, хотя она ничего не гарантирует.

В Пено мы купались в Волге, поднимали целину под грядки, корчевали пни, сжигали на большом костре мусор и скошенные заросли иван-чая, лопухов и крапивы. Отдохнули хорошо. Пришел день отъезда.

Утром я сказал, что пойду в кассу за три часа до открытия, что вызвало бурный протест Лены и осуждение моего невозможного беспокойного характера.

— Зачем тебе идти в такую рань! Мы прекрасно возьмем билеты за полчаса до поезда!

Зал ожидания был пуст, чему я очень обрадовался — значит, я первый. Сел на лавку рядом с кассой, поставил рюкзак в ноги и

стал спокойно ждать.

Минут через десять пришли две женщины, заняли за мной. Постепенно зал заполнился людьми. За десять минут до открытия кассы народ заволновался и построился в очередь. Я встал первым к окошку. Тут же возник конфликт с неожиданно появившимся конкурентом, который заявил, что он пришел раньше меня на полчаса. Я возмутился:

— Я вас не видел! Зал был пуст, когда я вошел!

— А я сидел на скамейке перед входом. И за мной еще три человека заняли.

Скамеечники стали жать на очередь, началась перебранка и толкотня. Однако очередников в зале было больше, они меня решительно поддержали, вытеснив часть скамеечников в хвост очереди; другая же часть продолжала бороться за второе и третье места. В это крикливое противостояние вдруг с истеричными воплями врезалась скандальная тетка с ребенком на руках, заявившая свое внеочередное право, поскольку ребенок у нее инвалид. Базар и выкрики достигли своего апогея. Я твердо стоял у самой кассы, вцепившись в окошко, когда кто-то постучал меня по спине. Я обернулся.

Передо мной покачивался пьяный вдробадан мужик. Одной рукой он схватился за меня, чтобы не упасть, а второй размахивал перед лицами граждан.

— Вот этот в белой кепке, — тычок мне пальцем под ребра, — пусть стоит! Он первый. А мне, бляха-муха, билета не надо! Мне внука надо отправить. Вот эта баба пусть тоже стоит. А мое место третье. Это уж как хотите. А кто чего скажет — я, бляха-муха, за себя не ручаюсь!

Тут он качнулся и чуть не упал, но был поддержан своим корешем, здоровенным парнем в рваной тельняшке.

— Дядя Федя, ты место забил? Теперь пойдем отдохнем.

Он вытянул дядю Федю из очереди и прислонил к стенке. Тот сполз на корточки.

В этот момент раскрылось окошко, и к моей радости на наш поезд оказались купейные места. Кассирша предупредила, что места не нумерованы.

Привокзальную платформу заполнила толпа счастливых обладателей билетов. Никто не знал, где остановится их вагон, поэтому все взволнованно бегали по платформе, ориентируясь на противоречивые советы тех, кто уже ездил по этой дороге. Поперек платформы лежал дядя Федя. Над ним стоял растерянный внук лет семи.

Издали послышался шум подходящего поезда. Волнение на платформе усилилось. Громкоговоритель зашипел, потрещал и

возвестил:

— Нумерация вагонов начинается с хвоста. Стоянка три минуты.

Толпа рассыпалась на единицы, люди с вытаращенными глазами ринулись навстречу друг другу, роняя багаж, огибая дядю Федю, лавируя и сталкиваясь.

В общей суматохе мы подбежали к своему пятому купейному. Маленький толстенький проводник долго мял в руках наши билеты. Убедившись, что все правильно, он пустил нас в вагон. Вагон был переполнен, и нам достались последние места в трех разных купе.

— Белье брать будете? — мрачно спросил толстячок.

— Будем, — твердо ответили мы.

— С вас по десять пятьдесят. Пойдемте со мной.

В одном комплекте белья не оказалось наволочки. Вместо нее проводник предложил второе полотенце, чтобы обернуть подушку. Однако Лена бурно запротестовала, и проводник отправился искать наволочку по всему поезду. Не прошло и часа, как наволочка была найдена и вручена.

— Чай пить будете? — спросил проводник, глядя в пол.

— Нет, спасибо.

— Ну и слава Богу!

Самое интересное оказалось впереди. В Осташкове в наш вагон ввалились пятнадцать человек с нумерованными билетами. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что им придется стоять до Петербурга — мест уже не было во всем поезде. Сначала они сильно возмущались, а потом притихли и, смирившись с судьбой, расселись по краешкам чужих полок.

Вот тут-то Лена и сказала мне впервые в жизни:

— Как ты был прав, дорогой!

Зоомагазин

В солнечный погожий день, седьмого ноября 1962-го года, я бродил по окраинной Одессе и наткнулся на маленький зоомагазин, находившийся в полуподвальном помещении двухэтажного строения с облупленной штукатуркой.

У зоомагазина была своя витрина — одно окошко, внутри которого слева стояло пыльное чучело зайца, справа — чучело совы, с одним стеклянным глазом, а посредине — портрет Ленина в красной рамочке.

Под всеми этими экспонатами была протянута кумачовая полоса, с надписью: «Хай живе наша ридна радяньска власть!»

Рандеву

Одесса, 1962 г.

— Вот сразу видно, что вы человек культурный, — сказала она и улыбнулась крашеным ртом, — я тоже кое-что понимаю в искусстве, а мой сын Юрочка, вам обязательно надо познакомиться, он просто обожает искусство. Оно для него — все!

Справедливость требует отметить, что ни слова об искусстве не было мною произненесено.

— Он у меня очень культурный, — продолжала она, гремя посудой, — у него столько книг по искусству — вы себе не можете представить!

Закончив умываться, я пробормотал что-то вроде того, что много книг по искусству я себе представить могу, и хотел выйти из кухни, но она меня остановила.

— Вы знаете, я ведь тоже увлекаюсь искусством, — почему-то понизив голос, сообщила она, — некоторые любят картины и хрусталь, например, а у меня особое увлечение…

Она поправила мокрой рукой волосы и посмотрела на меня. Элементарная вежливость требовала от меня вопроса, что же это за особое увлечение, но я молчал, рассматривая ее роскошный халат и холеные руки с кольцами, моющие посуду в цинковом тазу.

— Я увлекаюсь коврами и бриллиантами, — сказала она и опустила ресницы, густо покрытые краской. Я с интересом посмотрел на нее. Неужели ей свойственно чувство юмора, и меня тонко «делают»?

— Серьезное увлечение, — ответил я, не найдя ничего более умного.

— О! Конечно! Очень серьезное. Если хотите, я вам покажу свою коллекцию…

Мы отправились в ее комнаты. Пройдя обшарпанный коммунальный коридор, с лампочкой на голом проводе и четырьмя счетчиками на выцветших лиловых обоях, мы открыли дверь, и взгляд мой сразу уперся в ковер, висящий в прихожей, против входа. За ним виднелся второй, и я понял, что ни о каком юморе не могло быть и речи.

— А, это ерунда, — сказала она, поймав мой взгляд, — так просто завесила стенку в прихожей… А вот это Юрочкина комната.

На трех стенах Юрочкиной комнаты висели ковры. Ноги

мягко ступали по четвертому. Не завешаны коврами были только потолок и окно. На вишневом шелку китайского покрывала, застилающего кровать красного дерева, играли зеленые драконы. На полированном ореховом столе — ониксовый чернильный прибор, с бронзовым орлом. Над столом — великолепная цветная фотография из американского журнала. Красавица в красном бикини на золотом песке пляжа.

— Это Мерлин Монро, — сказала хозяйка.

— Вы уверены в этом?

— Абсолютно. Вы обратили внимание на особую композицию снимка?

Я сознался, что не заметил особой композиции.

— Посмотрите: ее ноги прикрыты пачкой сигарет. Это — реклама табачной фирмы. Вы знаете, конечно, что у Мерлин Монро были некрасивые стопы? Как! Не знаете? Это же всем известно…

— Очень интересно. А на той стенке что за красавицы?

— Это американский календарь. Юрочка очень увлекается английским языком.

Голые красавицы были обворожительны. Их было двенадцать, на каждый месяц своя. Я выразил восхищение, и мы перешли в следующую комнату. Вернее, залу, метров пятьдесят. Стен не было видно из-за ковров. Наши голоса звучали приглушенно — ковры поглощали звуки.

— Узбекский, туркменский, персидский, — перечисляла хозяйка, — этот из Бухары, а этот муж привез из Турции. Правда, красивый?

— Очень, — тоном специалиста по коврам со стажем подтвердил я, — турецкие вообще ценятся… Скажите, пожалуйста, а как вы их чистите? Ведь это грандиозный труд!

— Ну, сама я, конечно, этим не занимаюсь. Каждую неделю ко мне приходит баба и работает пылесосом целый день. У меня два пылесоса: «Днепр» и «Чайка».

Спросить, не является ли коллекция пылесосов ее третьим увлечением, я не решился. Мне хотелось дослушать экскурсию до конца.

Весь пол покрывал серый китайский ковер. На старинной этажерке стояла большая цветная реподукция в рамочке. Хорошенькая Гретхен зацепилась платьем за забор и обнажила все свои прелести. Внизу было что-то написано готическим шрифтом, и я поинтересовался, не увлекается ли Юрочка немецким языком? Оказалось, нет.

— Теперь — сюда! — сказала хозяйка, и по ее тону я понял, что теперь начинается самое главное.

Половину третьей комнаты занимали две роскошные (карельская береза с орехом) двуспальные кровати, покрытые шелковыми синими покрывалами. Шкаф карельской березы. Пианино, с хрустальными вазами на нем. И опять ковры, ковры, ковры…

Ого, какой ковер! Огромный, он занимал всю стену. Какой-то странный, не похожий ни на что, виденное мной здесь. Геометрический, простой до грубости, орнамент. Поразительной яркости краски. Сотни квадратиков, следующих один за другим, и ни одного похожего. Необычный ритм. Я перевел взгляд на висящий радом персидский ковер. Он красив. Затейливый узор. Блогородная гамма. Благополучный ковер, довольный сам собой. А этот — какой-то дикий, яркий первобытный…

— Откуда у вас такой ковер?

— О, — она расцвела, — я знала, что он вам понравится! Муж привез из Афганистана. А знаете, сколько он стоит?

— Нет.

— Сто тысяч! К нам оценщик из музея приходил. Посмотрите, у него две основы…

Ковер был действительно какой-то двойной. Вероятно, это дало возможность мастеру увеличить количество цветов. Во всяком случае, такого ковра я еще нигде не видел.

— Ну, а теперь — бриллианты! — возвестила хозяйка и высыпала на круглый столик кучку ювелирных изделий. Блестящие камушки, оправленные в золото, рассыпались по мраморной столешнице, сверкая десятками мелких огоньков. Бриллианты… Настоящие…

— Сережки, — тоном эрмитажного гида объявила хозяйка, — двенадцать тысяч. Кольцо к ним, видите, того же стиля? Еще шесть тысяч. Весь комплектик — восемнадцать тысяч. Видите?

— Вижу. Стиль тот же.

— Цепочки золотые, брошь с бриллиантом…

— Сколько тысяч?

— Четыре с половиной. Бриллиант здесь большой. Правда, красиво?

— Очень, — сказал я и украдкой посмотрел на ковер.

— Я вижу, вы бриллиантами не увлекаетесь, — несколько обиженно заметила хозяйка.

— Нет. Я больше коврами. А вы, наверное, никогда не носите ваши бриллианты? — спросил я и почувствовал, что наконец-то попал в жилу. Вопрос был тот, которого от меня ждали.

— Вот именно ношу! — воскликнула она счастливым голосом. — Постоянно. Дело в психологии. Понимаете? Ни один одесский вор никогда не подумает, что у дамы в трамвае на руке

кольцо за шесть тысяч! А теперь так много чешской бижутерии, похожей на мои кольца, а она ведь стоит гроши… Вот мы с мужем были на рандеву у одного генерала — в высшей степени культурный человек! — так даже он не определил, что у меня настоящие драгоценности!

Бросив последний взгляд на ковер и поблагодарив хозяйку, я удалился, провожаемый бесчисленными приглашениями зайти снова.

Рандеву было окончено.

Суровые люди

Пришел я в «Неву» первый раз в жизни. Шею вымыл. Подстригся. Побрился. Ботинки начистил. Зубы почистил. Другой щеткой. Пухлую папку подмышку сунул. По мраморной лестнице поднялся. В отдел прозы постучался. Вошел.

За столом мужик сидит. Мрачный. Лысина нахмурена. Брови сдвинуты. Взгляд суровый.

— Садитесь, — говорит. — Будем работать.

Как пошел он работать — мать родная! Ручка тут и там по моим строкам чиркает. Не вытерпел я, спрашиваю:

— Это почему?

— Для художественности, — говорит. — Чем короче, тем художественнее, — говорит.

И по новой странице — чирк! Слева направо.

Всю рукопись испачкал.

Пришел я домой. Жена спрашивает:

— Какие впечатления?

— Суровый больно, — говорю. — Пять листов перекрестил буквой «хе». И ни разу не улыбнулся. Видать, редактор без чувства юмора попался.

Потом я к нему привыкать стал. Ну подумаешь, не умеет человек улыбаться! Может, у него на улыбку зубов не хватает. Он не виноват.

Прошло время. Принес я ему как-то два смешных рассказика: один — как мужик кипятком обварился, а второй — как самогоном подавился.

Через два дня мне звонок из «Невы»: заходите!

Пришел я. Дверь открыл.

За столом незнакомый мужик сидит. Рот до ушей, хоть завязочки пришей.

— Здрасьте, — говорю. — А где же мой Лурье?

— А я и есть Лурье, — говорит. — А сам от смеху дохнет.

Пригляделся я. Вроде бы он.

— Как, — спрашиваю, — Вы умеете улыбаться? А почему раньше не улыбались?

— А вы почему не улыбались? Пришел — брови сдвинуты, лысина нахмурена, взгляд суровый. Первый раз такой автор без чувства юмора попался!

Священная река

«Прежде, чем выходить из автобуса, послушайте меня внимательно, — объявила Крейна, наша руководительница из Сохнута. — Мы приехали в киббуц, расположенный в ста метрах от Иордании. Здесь погранзона. Граница проходит по священной реке Иордан. Этот берег наш, тот — иорданский. Сейчас десять часов, уже темно. Поэтому, будьте осторожны. Не разбредайтесь по сторонам, а организованно займите свои спальные места, оставьте там вещи. Через пятнадцать минут вас пригласят на ужин».

В обширной и чистой столовой стояли столики, покрытые красивой клеенкой, на которой поблескивали фужеры для сока, ножи и вилки. Приветливые черноволосые девушки замелькали между столиками с разнообразными салатами, потом по столовой разнеслись ароматы жареного мяса и тушеных овощей, фужеры наполнились апельсиновым соком, и мы, уставшие и проголодавшиеся с дороги, набросились на сказочный ужин. Лена была оживлена, ела с аппетитом, с интересом наблюдала непривычную ресторанную обстановку, шутила с официантками и, закончив с пиршеством, быстро встала из-за стола и сказала: «Идем!» Я слегка удивился такой деловитости, но решив, что она за долгую дорогу устала и хочет спать, поднялся за ней.

Мы вышли из ярко освещенной столовой и сразу потонули в темноте. Лена схватила меня за руку и потянула куда-то влево и вниз по уклону, мы шли наощупь, натыкаясь на камни и продираясь сквозь колючие кусты.

— Постой, куда ты меня тащишь?

— К Иордану. Здесь недалеко.

— К ИОРДАНУ? Зачем?

— Я должна выкупаться в нем.

— Выкупаться? Именно сейчас? В темноте? Слушай, а тебе не напекло голову в дороге?

— Мне не до твоих шуток сейчас. Пошли левее, потому что здесь колючая проволка…

— Мне тоже не до твоих шуток. Здесь погранзона. На колючку ты уже напоролась. Теперь жди автоматной очереди.

— Но я должна! Я обязана выкупаться!

— Что значит «должна»? И кому должна?

— Своим псковским бабушкам. Что они скажут, если я расскажу, что я была рядом с Иорданом и не выкупалась в нем? Да вот он поблескивает… Не хочешь, не ходи, а я пошла… Отпусти руку!

Я взглянул на небо, ища поддержки. Большая медведица вела оживленный разговор с Малой, не обращая на меня никакого внимания. Восточный полумесяц, похожий на тонкий срез лимона, валялся на спине, абсолютно равнодушный к моим проблемам…

Я еще крепче сжал ее руку.

— Никуда ты не пойдешь! Здесь граница! Еще пять шагов, и начнут стрелять. Либо иорданцы, либо израильтяне.

— Так что же, — в голосе Лены послышались слезы, — я так и не выкупаюсь?…

Во тьме я не видел ее лица, но по интонации понял, что нахожусь в роли палача. Я ломал давно выношенную и обдуманную мечту.

— Завтра с утра я тебя разбужу, и мы при свете пойдем к Иордану.

Мы вскочили в шесть. Солнце светило вовсю. Сквозь заросли колючек и нагромождения камней мы выбрались на берег священной реки Иордан. Великая река, тысячи раз воспетая в мировой истории, оказалась узенькой, метров пять-шесть в ширину, речушкой, с мутной грязноватой водой, несущей гнилые водоросли и куски коричневого дерева.

Оба берега реки были отгорожены двумя рядами колючей проволки. На иорданской стороне, рядом с каменным (бетонным?) блок-постом неподвижно торчал солдат с автоматом.

Мы постояли. Потом Лена молча указала на обрыв проволки в пяти шагах от нас. Мы спустились к реке, осторожно минуя острые края камней. У самой воды Лена, держась за мою руку и выгнувшись всем телом, помочила сначала одну ногу, потом другую и обернулась ко мне со счастливой улыбкой.

— Можем идти?

— Да. Теперь можем.

Мы смешались с шумной толпой туристов, и красный автобус помчал нас по шоссе. Лена смотрела в окно в глубокой задумчивости и блаженно улыбалась. Вокруг нее сидели и пели псковские старушки. Из полуотворенной двери была видна березовая рощица, сбегающая к реке, колодец с журавлем и яркий петух, взлетевший на деревянную ограду.

Схватка

Лето шестьдесят пятого года. Зеленогорск. Мы укладываем семимесячную Машку в коляску и отправляемся в магазин на привокзальной площади за продуктами.

Танечка, худенькая, загорелая и яркоглазая, оживленно рассказывает мне о том, как она научилась кататься на велосипеде и как мама посылала ее одну в магазин за хлебом и молоком, и о том, что Машка — страшная бузотерка — вчера на руках у мамы поддала миску с манной кашей ногой, и пришлось ей менять ползунок и снова варить кашу, а у соседей живет сибирский кот, очень пушистый и охотится за птичками, но пока еще ни одну не поймал…

День сегодня солнечный. Коляска мягко катится по асфальту, бросая лучики света от полированной ручки, а я с удовольствием слушаю весь этот щебет, я два месяца не видел детей и сейчас радуюсь им, находясь в какой-то эйфории.

Около магазина много народу. Я заглядываю в дверь, там очередь.

— Танюша, побудь с Машкой, а я немного постою в магазине. Там тебе делать нечего, лучше позагорай на солнышке. Машка, по-моему, заснула.

В магазине темновато и грязновато. Хлеб и батоны на полках, рядом бутылки с водкой, мешки с мукой, два сорта карамели в ящиках, ящик с макаронами, палки копченой колбасы. «Бумаги нет! — кричит продавщица. — Готовьте свою!» Все нормально…

В магазин врывается Таня: — Папа! — захлебывается. Лица на ней нет, глаза, щеки в слезах…

— Что случилось? Что с тобой?

— Там пьяный… упал на коляску… Уронил…

Вылетаю из магазина. Толпа. Рядом с коляской женщина с Машкой на руках… В двух шагах от нее машет руками плотный пьяный мужик в коричневом пиджаке, что-то выкрикивает… голос хриплый…

— Этот?

— Да.

Сходу, слету, с бешенства резко выбрасываю кулак. Что-то хрустнуло под костяшками пальцев — и пьянюга опрокидывается навзничь…

Такого эффекта, признаюсь, я не ожидал. Я думал, он вскочит и набросится на меня и решил, что надо во что бы то ни стало не дать ему подняться, ударить еще раз, выкрутить руку. Однако ничего такого не понадобилось. Он беспомощно барахтался в

бурой пыли, пытаясь встать, и заваливался снова, бессмысленно разгребая грязный песок дороги вместе с окурками и винными пробками, в изобилии наброшенными около магазина.

Женщина, держащая Машку, передала ее мне с рук на руки. Я успокоил все еще плачущую Танюшку, и мы осторожно уложили Машку в коляску. Она тоже перестала плакать и удивленно моргала, как бы недоумевая: а что же, в самом деле, с ней произошло…

— Не бось! — сказала мне женщина. — Она невысоко упала.

Таня держалась за мой пояс. Кто-то говорил со мной, сочувствуя. Мужика подняли и уводили. Толпа расходилась — самое интересное осталось позади.

Странное ощущение полного покоя овладело мной с момента удара. Я это совершенно точно зафиксировал в себе. Я решил отвести детей домой, а потом вернуться одному за продуктами. Танюшке явно требовалась материнская ласка — девочка пережила большой, возможно самый большой за свои восемь лет, испуг. А мне, как ни странно, было удивительно легко и спокойно на душе.

Трагическая личность

Петр Криворуцкий. Скульптор. 1983 г.

— Лев! Я хочу вылепить твой портрет. Попозируешь?

— Пожалуйста! Ты будешь лепить меня, а я тебя.

— Хорошо. Я давно к тебе приглядываюсь и никак не могу решить психологическую задачу…

— Какую?

— Ты личность оптимистическая или трагическая?

— Вот так так! А ты лепи, как видишь. Натура — дура, а художник — молодец. Как ты меня видишь, как ты меня чувствуешь, так и лепи.

— Я думаю, ты личность трагическая…

— Вот и валяй! Глину в руки и вперед!

— Ну, тогда голову вниз и налево…

Сеанс гипноза

— У тебя болит живот? — спросила тетка Таня.

— Есть немножко.

— Нет аппетита?

— Нет.

— Надо тебя показать опытному врачу. Мы тебе устроим встречу с профессором Черненьким.

— Надоели мне все врачи! Опять пилюли, опять кишку глотать!

— Никакой кишки. Он лечит гипнозом.

— Гипнозом? Это интересно.

В голове сразу выстроился образ: высокий, худощавый, сдвинутые брови. Черные пронзительные глаза. Говорит замогильным голосом и простирает ко мне скрюченные ладони.

Пусть гипнотизирует. Фиг я ему поддамся!

В назначенное время приехал я на площадь Льва Толстого, вошел в старинный подъезд и постучался в дверь, обшитую черным дерматином.

Мне открыл кругленький старичок с доброй улыбкой и розовой лысиной, приветливо сказал: «Я вас ждал. Пройдемте в кабинет».

В кабинете он усадил меня на стул, сам сел в широкое мягкое кресло напротив, уютно положил руки на подлокотники и сказал:

— Расслабьтесь!

— Как это?

— Сядьте удобно, дышите легко и свободно, руки и ноги не напрягайте, подготовьте себя к дремоте и сну.

Я расслабился, как смог, и во все глаза смотрел на него в ожидании начала гипноза.

— Закройте глаза.

— Я закрыл.

— Вам тепло и спокойно.

Мне действительно не было холодно. Ниоткуда не дуло.

— Ваши руки и ноги теплеют. Вам приятно. У вас ничего не болит. Вы погружаетесь в теплую ванну, вы начинаете засыпать…

Я подумал, что перед теплой ванной не мешало бы раздеться. Спать я вообще не собирался.

— Вы лежите на теплом песке у южного моря. Солнце вас греет, и вы потихоньку засыпаете…

Ничего себе советы: заснуть под солнцем на южном море! Так и солнечный удар можно получить!

— Вы засыпаете. У вас ничего не болит. У вас руки теплеют,

ноги теплеют… Вы лежите… Вы спите…

Голос его стал понижаться и дошел почти до шепота. Меня эта игра начинала раздражать. Сна у меня не было ни в одном глазу, и я с тоской подумал, как бы мне, его не обидев, пораньше смыться домой.

— Вы спите… — Пауза. Вздох. — Вам снится приятный сон… — Пауза. Вздох. — Вы спите… Вы спи… Вы спи…

Пауза затянулась. Я осторожно открыл один глаз. Звезда гипнотического лечения профессор Черненький мирно спал, сладко посапывая, в своем широком мягком кресле.

Я открыл второй глаз и стал разглядывать кабинет. Он был внушителен. В кабинете царил полумрак, из которого настольная лампа с зеленым стеклянным абажуром выхватывала высокие стеллажи с книгами, старинный диванчик под полосатым чехлом, пустую клетку из-под канарейки, семейные фотографии в овальных рамах и большой письменный стол, около которого я сидел. На столе стояли старинные бронзовые часы с декоративными излишествами, большой ониксовый прибор с двумя чернильницами и стопка книг в темных кожаных переплетах.

Профессор пошевельнулся, и я срочно закрыл глаза. Посапывание продолжалось, и я открыл их снова. Взглянул на часы. Сеанс гипноза длился уже час, а гипнотизер и не думал просыпаться. Я забеспокоился. А вдруг он так до утра? Может быть, у него такая привычка — загипнотизировать пациента и закемарить сладко минут на шестьсот?

В этот момент профессор дернулся, открыл глаза (свои я успел закрыть) и бодрым голосом возвестил:

— Можно проснуться. Откройте глаза! Ну вот, вы и поспали хорошо. Вам стало лучше?

— Значительно.

— Вот и прекрасно. Гипноз — прекрасный метод лечения гастритов. Еще девять сеансов, и вы забудете о гастрите. Всего вам хорошего, не надо благодарности. Приходите завтра в то же время.

Два перестроечных этюда

Талон

Наша знакомая, Галина Николаевна — почтенная и милая дама, пришла в отдел заказов, чтобы на водочный талон выкупить кофе и сгущенку. Так можно. Подает продавщице талон.

Продавщица: А свидетельство о смерти у вас есть?

Г. Н.: Что-о-о?

Продавщица (раздраженно): Свидетельство о смерти!

Г. Н.: Чьей?

Продавщица (со злобой): А я откуда знаю — чьей?

Г. Н.: Я еще, как видите, живая. В чем дело? Я даю талон, вот моя визитка. Могу паспорт показать. А свидетельства о смерти нет. Извините.

Продавщица: А нет, так и нечего ходить. Только от дела отрываете.

Г. Н.: Ходить или не ходить буду решать я сама. А вы мне потрудитесь объяснить, что все это значит?

Продавщица (нехотя и покровительственно): У нас не меняют. Мы даем водку родственникам по талонам на поминки. У вас кто помер?

Г. Н.: Никто.

Продавщица: Вот вам и не положено. А зря. Могли бы на один талон пять бутылок выкупить. Вам же лучше хотят, а вы кобенитесь…

Разговор двух старух, подслушанный Леной в автобусе

— Откуда едешь-то?

— Да вот в список на очередь ездим записываться.

— А за чем стоишь-то?

— Да за гробом стою. Мне же помирать скоро, а гробов-то нет. А уж в голой земле лежать больно неохота.

— Дак как же ты?

— Дак я за кооперативным гробом стою. Только больно дорог. Сто тридцать. Не знаю, как и платить буду.

— А пенсия у тебя какая?

— Нынче прибавили. Семьдесят получаю.

— Дак это две пенсии выходит.

— Да я про то же говорю. Скопить надоть, откладывать. А как

отложишь? Есть, пить надо. Вот и к праздничку хотелала что купить, побаловаться, дак очереди кругом. Да и нет ничего.

— А что сегодня за праздник?

— Ай, забыла? Сегодня же пятое декабря. Сталинская Конституция…

Угон

Мы с Машей вышли из ворот, чтобы поехать в гости к Марьяне, одной из наших подопечных. Машка потянула меня взглянуть на новое украшение нашего исторического памятника архитектуры — вывеску румынского консульства. Я подошел ближе. Как тут было не охнуть! Рядом с досками Вагановой, Преображенской, Ершова и Дунаевского появился тощий золотой орел на ультрамариновом фоне в золотой раме. В лапе у него жезл, в другой — меч. Одного меча ему для устрашения показалось мало, и в клюве у него торчал второй меч. Сзади из него росли два золотых распростертых крыла, на пузе — шесть мелких гербов. Сам орел — жутко злой. Если бы я точно не знал, что это орел, то подумал бы, что это известный всему худфонду персонаж динамической композиции под названием «Курица вздыбленная». За вздыбленность работа оплачивалась на 15 % дороже.

Налюбовавшись румынским гербом, мы пошли к машине. Машка вдруг остановилась.

— Ты что?

— А где машина-то?

Машины не было.

Мы рванули домой. Первым делом Машка позвонила 02 и сообщила об угоне. Ей предложили приехать в районное отделение. Машка выскочила на улицу, а я остался дома и позвонил Марьяне, что мы не приедем. После этого я подумал, насколько осложнится сейчас наша жизнь без машины, тем более, что у Машки работа в кино связана с поездками во все концы города. Ломается выверенный график, кругом неприятности. Я сидел, тужил и думал, что машину не найдут никогда, поскольку ее уже ночью перекрасили, сменили номера и перегнали в Беларусь.

Мои озабоченные размышления прервал звонок по телефону.

— Але! Папа, я нашла машину!

— Как? Где?

— На Гоголя, за углом.

— Как же она туда попала?

— Я ничего не понимаю. Кому нужно было угонять машину за угол? И как они в нее залезли? И почему ничего не украли? Я поехала в милицию, пусть они мне что-нибудь посоветуют, а вдруг эти воры снова захотят покататься.

Через полчаса Машка приехала на машине домой.

— Воров нашли?

— Это не воры. Это наша милиция, которая нас бережет. Сегодня утром Матвиенко открывала новое консульство на Гороховой 4, и ГАИ эвакуировала все машины, запаркованные в этом квартале. Я спрашиваю: «А что, владельцев не могли предупредить заранее или хотя бы после?» А мне молодой милиционер отвечает: «Девушка, вы в какой стране живете?»

В какой стране мы живем, мы знаем уже давно, но виноваты все равно оказались румыны. Что я и предвидел, посмотрев на орла.

Женины метаморфозы

Записано со слов Евгения Антоненко, 1957 г. р., в Ленинграде. Октябрь 1986 г.

Хотите, расскажу, как я в Усвяты ездил? Меня девчонки сманили туда в фольклорную экспедицию. Наговорили: там будут свадьбы, похороны, обряды. Такие кадры привезешь! Вот я и клюнул. Знал бы, чем этот фольклор обернется, ни за какие коврижки бы не поехал!

Началось с вокзала. Я пришел в нормальной бархатной апельсиновой кофте, так? За плечами рюкзак килограмм 30–40–50, так? Из него штатив торчит. Все в сборе.

Начальница, с виду вполне интеллигентная женщина. Голос такой задушевный. Мне говорит: «Вы — Женя?» — «Да, говорю, Женя». — «Очень хорошо. Так вы, Женя, — задушевно так говорит, — возьмите сразу два больших магнитофона. Потому что мои ребятушки устать могут».

Посмотрел я на ребятушек. Один парень под два метра, на нем пахать можно, так? Но руки заняты. В одной руке нотная тетрадочка, другой за папин палец держится. Второй парень ему по пояс, говорит птичьим голосом. А третий — Бойко, но это я после расскажу.

Девчонки — целый выводок — старшая группа детского сада, такие недомерки, и где она таких набрала!

Да, так вот, про Бойко Елена Николаевна говорила: «Юра — гениальный музыкант, его беречь надо. Магнитофоны ему вредно носить. Он каждую ноту, каждый звук слышит. Никогда не промахивается». Мы потом уже в Усвятах с ним на гармошке играли. Как? Этот гений где-то сиплую гармошку раздобыл и около меня четыре часа играл без передыху. А у меня ножичек перочинный был, так? Лезвие пятьдесят два сантиметра, так? Вот когда совсем мне невмоготу стало, я ножичек вынул и стал в землю около его босых ног втыкать. Он глаза вылупил: «Ты что делаешь?» — «Играю. Ты играешь, и я играю. Только ты не промахиваешься, а я могу промахнуться». Гений сразу слинял.

Да, так вот, пошли мы в вагон. Тут ко мне какой-то тип с бородой и в очках стал вязаться. Сначала он вокруг начальницы увивался, а потом на меня потянул.

Говорит: «А вы, Женя, знакомы с техникой безопасности?»

Я говорю: «Знаком. А что?»

«Да вы штативом больно машете. Такую амплитуду выдаете

за спиной, что кому-нибудь в лоб заедете.»

Тоже мне эксперт нашелся. У меня в руках два магнитофона, рюкзак килограмм семьдесят, а он меня технике безопасности учит!

Потом он за мной еще в вагон полез. Хотел я ему амплитудой по очкам заехать, так? — но сдержался. Думаю, может он оттуда, так себе дороже.

В общем, приехали в Усвяты.

Елена Николаевна (начальница) мне говорит:

— Завтра я с половиной группы буду работать в Усвятах, проводить фестиваль. А вам поручается ответственное дело. В соседней деревне, обыкновенная такая русская деревня, называется Дворец, завтра играют свадьбу. Делать вам там будет почти нечего. Я только хочу, чтобы вы отсняли ритуалы, обряды, «перебранку родни», в общем, всю свадьбу. Кроме того, на вас переноска и починка магнитофонов. Но самое главное — охранять девочек. Мне, конечно, неприятно даже мысленно оскорбить кого-то недоверием, потому что все люди — братья, а молодым мужчинам свойственно рыцарство, но среди исторических корней обрядовых традиций сохранились ритуалы питья вин из братин, и когда этими ритуалами немного злоупотребляют, то могут, в некоторой степени, обнажиться низменные инстинкты. По Фрейду. И Юнг этого тоже не отрицает. Так что вы сами в рот капли не берите, с девочек глаз не спускайте — такая вам сложная фото-технико-психологическая задача. Вы меня поняли?

Я говорю: — Все понял, Елена Николаевна. Если обнажат — врежу.

У нее брови на лоб, голос погрустнел: — Как врежете?

— А штативом. Между глаз.

Тут она совсем грустной стала и пошла возглавлять фольклорный фестиваль.

А я забрал аппаратуру, магнитофоны в обе руки и девчонок свистнул. Слава богу, только три пошли.

Приходим на свадьбу, а там еще три наши девчонки нас ждут, так? Я даже вспотел от злости. Ну, думаю, Елена Николаевна, погодите!

Начали работать. Огляделся я — такие кадры! Невеста сидит поперек себя шире, рыло — во! На рыле сверху французская шляпка прицеплена, так? Жених от нее тарелкой закрывается, взглянуть боится. Кругом бабки песни поют, выплясывают. На столах бутылки рядами, так? Московская, бормотуха, плодовыгодная, закуски полно. Народу — тьма, все уже теплые, некоторые вдробадан, а кто вусмерть, так? Под столом ритуалы

проводят.

Я магнитофоны девчонкам наладил, одной рукой из трех аппаратов снимаю, другой клавиши нажимаю, третьей девчонок охраняю.

Вдруг подходят ко мне местные парни. Окружили. Человек пятнадцать, так? И все — рыцари. Челка глаза закрывает, в зубах сигареты, весовая категория — полутяжи, а один бугай поперек себя шире, рыло — во! Родной брат невесты, каждый кулак с мою голову.

— Эй, ты — говорят, — которая тут твоя?

— Вот эта — показываю на Олю Моисеенко.

— А остальные?

— И остальные — мои.

— Не многовато ли тебе одному?

— Ничего, справляюсь!

— А ты что — такой здоровый?

— На здоровье не жалуюсь.

Тут они перемигнулись между собой.

— Раз ты такой здоровый, перепей нашего. Перепьешь — твоих девчонок отпустим. Не перепьешь, наши будут.

И выставляют своего бугая, так? И на стол две бутылки «Гавана клаб» ставят. Гадость какая!

Мысль мелькнула: этого мне не перепить! Надо что-то придумать. А бугай уже свой стакан налил и на меня смотрит. Я говорю:

— Зачем стаканы? Давай из горла!

А у меня прием был отработан с детства, с пионерлагеря — из горла не глотать, а лить, как в воронку. Так я всю бутылку разом и влил в себя. А бугай со второго глотка закашлял, поперхнулся и отвалил.

Я девчонкам говорю: — Быстро собирайтесь и пошли. Пока я еще на ногах.

Вышли мы, так? Голова кругом идет. И ноги уже не мои. Я решил напрямки идти, а не вокруг озера. Девчонки защебетали: «Женя, Женя, там болото!» Ну, я их послал подальше и почапал один.

Иду, под ногами чавкает, голова гудит, потом одна нога пошла вниз, в трясину. Я другой отпихнулся — и другая по бедро — так? Я забултыхался, провалился и стал тонуть. Три аппарата вниз тянут. Тону все ниже и ниже. Что такое? Первый раз такое болото попалось. Вы не поверите, а там от поверхности до дна двадцать два метра было. Я стал балласт сбрасывать. «Зенит» сбросил, медленнее пошел. Потом «Киев» — остановился. Думаю: а ну вас всех в болото с вашим фольклором! Дал мощный гребок

рукой и вынырнул. Встал весь в тине, вода хлещет, водоросли всякие с головы свисают, в них лягушки, инфузории копошатся, ящеры, змеи водяные, анаконда небольшая, метров пять-шесть… Ну, тут меня «Гавана клаб» прикончил совсем, и я вырубился.

Очнулся я уже на другой день. Лежу я в белом замке под белой простыней.

Господи, думаю, что же я такое натворил? И почему я на Любашиной кровати? И где мои штаны, и почему я голый?

Хотел вскочить, смотрю: в дверях стоит Елена Николаевна и на меня дикими глазами смотрит.

— Женя, что с вами?

Я под простыню — нырк головой, сжался весь, сгруппировался, так? Уменьшился вдвое и Любашиным голосом отвечаю:

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста, Елена Николаевна, я немного нездорова…

Полежал, вроде тихо. Думаю, слава богу, унесло! В разведку пошел. Краешек простыни приподнял, глянул — стоит в дверях на том же месте, как каменный столб, а рядом с ней Любаша. Чорт ее принес!

Ну тут я вообще…

И до того мне обидно стало! Потому что я эту проклятую психо-фото-физиологическую задачу всю выполнил, свадьбу на двенадцать пленок отснял, честь девчонок, шмакодявок этих, сберег, себя не жалея, так? А теперь лежу голый, на трусов, ни штанов, ни аппаратов, ни свадьбы. Один фольклор кругом, будь он трижды проклят. Знал бы, ни за какие коврижки не поехал!

* * *

Вернулись в Ленинград. На другой день вызывает меня мой начальник и говорит:

— Женя, отнесите бутыль с серной кислотой с четвертого на первый этаж.

Я говорю:

— Что вы, Николай Петрович! Ведь серная кислота — это же не шутка! Она требует спецупаковки и соблюдения техники безопасности.

А он говорит:

— Какая там техника! Взял да понес. Бутылочка-то небольшая, всего пять-шесть литров.

Ну, взял я эту бутыль, прижал к животу и понес, так? Несу спокойно, осторожно, ведь это же страшное дело, ее на четвертом

пролить, она все этажи до подвала прожжет.

А навстречу мне по лестнице девчонки-лаборантки бегут. Баскетболистки. Хохочут. Все под метр девяносто, так? А одна — два десять.

Я им кричу: «Девочки, осторожно!» А они гурьбой мимо. Меня толкнули бедром в плечо, я подскользнулся, упал и кубарем по лестнице! Только головой ступеньки считаю. Четыре этажа пролетел, на первом остановился. Коленка разбита, рука вывихнута, на лбу шишка, так? Из носа кровь, ребро сломано, так? А бутыль цела!

Я лежу на спине и ее к животу прижимаю.

Потом тихонечко бутыль на ступеньку поставил, а сам вставать стал. Сначала на зад сел — больно, потом на коленку встал, потом за перила зацепился, встал кое-как, синяки считаю, ушибы. Зубы проверил, вроде все целы. Глаза на месте, голова вроде сверху, ноги снизу.

Глянул я на кислоту, а тут луч солнца на нее упал через фигурную решетку лестницы. Тени ажурные легли кругом — такой кадр! Бутыль сверкает, ступенька с трещиной под ней чернеет прямоугольником. И навозная муха на бутыль села.

Я сразу же за аппарат, он на шее висел, штатив за спиной был. Стал точку съемки искать. Шаг влево — наплыли перила, шаг вправо — ракурс плохой. Отступил на шаг назад. Молю бога, только бы муха не улетела! Потом еще на шаг…. Вдруг, трах! Чувствую, лечу вниз. В люк провалился, в подвал.

Метров пять пролетел, бочку железную головой пробил, о бетон — шмяк!

Рука сломана, нога вывихнута, ухо — в блин, тазовая кость из штанов торчит, а аппарат целехонький к животу прижимаю. Штатив со лба убрал, начал подниматься. На двенадцатой попытке встал, бочку с головы снял, так? Огляделся.

Смотрю, из разных углов подвала ко мне восемь парней идут. Такие амбалы. Все под метр девяносто, один — два десять. Подходят ко мне с четырех сторон и говорят:

— Что-то нам, парень, твой аппарат нравится!

Я говорю:

— Ну уж нет, ребята! Он мне самому нравится.

Тут меня сзади по голове чем-то тяжелым вдарили, и я потерял сознание.

Сколько лежал, не помню. Очнулся и гляжу: в одном углу трое со сломанными челюстями стонут. В другом трое друг другу ноги вправляют, так? Который два десять — на лампе висит, голова на сто восемьдесят градусов вывернута, так? А на последнем я сижу и молочу его по башке штативом. Потом

опомнился, на улицу вышел. Смотрю, народ от меня шарахается. Я думаю, что такое? Потом себя оглядел и охнул. Сорок ножевых ран, три пролома черепа. Таза нет вообще. Потом на суде те ребята сказали: «У него и до драки таза не было». Судья, тоже интеллигентная женщина, спрашивает: «Антоненко, у вас был таз?»

Я говорю: «Про себя не помню, а вот про того, который два десять, точно помню — у него сразу голова была наоборот вывернута. Потому что он на меня смотрел, а сам спиной шел».

Ну, им что-то присудили, а таз я до сих пор ищу.

Медицинская история

Заболел у меня живот и побежал я в нашу поликлинику на улице Жуковского — лечиться.

Добыл в часовой очереди номерок к врачу и на третий день встал пораньше и поехал в поликлинику с утра пораньше, чтобы оказаться первым к ее открытию.

Увы! У дверей уже стоял длинный хвост до самого Литейного…

Через час заветные двери открылись, и после толкотни и перебранки я взлетел на второй этаж в зал, куда выходили двери из кабинетов.

На этаже порядок. Кафельный пол, кадка с пальмой, по стенкам стулья. На них народ сидит и зорко следит, чтобы никто без очереди не пролез. Над стульями плакаты развешаны.

Посчитал я, сколько народа передо мной. Вздохнул тяжко, прикинул — часа на три хватит… Успеть бы до обеда.

Вынул я книжку, почитал немного, надоело. Два раза в туалет сходил, чтобы время протянуть, вернулся и со скуки стал медицинские плакаты изучать.

Прямо передо мной на торцевой стене большой стенд в красной рамке. На нем три листа: «Состав партбюро», «Состав профбюро» и «Состав народного контроля». Перечитал составы. Десять минут ушло. Над стендом большой плакат во всю стенку: «Поликлиника — коллектив высокой медицинской культуры». Это, — подумал я, — правильно написано. А то, может быть, не как у нас, где-нибудь и с низкой культурой есть, а кто засомневается, прочтет и успокоится. Это на медицинском языке психотерапией называется.

Перешел я к другой стенке. Там уже другая картина. Ближе к медицинской практике. Висит экран выполнения соцобязательств. Я эту рукопись прочитал с особым вниманием: каждый врач что-то лично обязуется делать — скажем, для примера, двадцать больничных выдать или тридцать пять зубов вырвать. Это дельный плакат. И у меня пока очередь двигается, еще пятнадцать минут прошло.

А дальше уже совсем ценный стенд — «Моральный кодекс строителя коммунизма». Вот это уже в точку. А то как же без морального кодекса лечить? Больному то ли градусник ставить, то ли клизму? Тут без морали никак нельзя! А то перепутаешь, что или куда — беды не оберешься, осрамишь всю нашу медицину.

И тут же рядом лики — моралисты в белых халатах. И в

белых шапочках. Стоят, как в строю. И сняты правильно, в два уха. Никаких тебе вольностей. А то каждый сниматься, как хочет, захочет — может профиль подставить или в кепке сняться. А тут порядок. Главный врач посерединке, неглавные по бокам, санитарки по флангам. Красота. А внизу пояснение: «ударники коммунистического труда».

Тут меня чего-то тошнить стало, и сходил я еще раз в туалет, просидел там минут двадцать на унитазе. Подышал чистым воздухом и обратно вернулся послушать, как народ на всю эту премудрость реагирует.

А народ, оказывается, никак не реагирует. Про свое треплется. У кого запор, у кого запой, у кого понос. Вот они, вместо того, чтобы плакаты читать, все эти глупости друг дружке рассказывают и советами делятся.

Суд да дело, время бежит, очередь тает. Пора мне за дело приниматься, еще две стенки осваивать. Что там за плакат с красивым рисунком и обильным текстом? Ага, «Советский красный крест». Вся его история и география. Ну что же — интересно. Прочел половину, на часы глянул — батюшки! Это я уже третий час тут просвещаюсь! А рядом с «Крестом» опять же фотографии. Тоже какие-то передовые. Хоть и без халатов, зато все улыбаются. Кто же это такие? А, вот оно что — «наши доноры».

А рядом плакат на красном фоне. На нем девица фигуристая. В белом платье в облипочку. В одной руке шприц держит, в другой — чашу со змеей. «Присяга медсестры». Ну, присягу я читать не стал и перешел к следующему экспонату «Медицинская эмблема». Там та же чаша со змеей, только без девицы, и там все про нее (про змею) сказано и даже кусок клятвы Гиппократа отпечатан.

Отдельно от чистой медицины строгий плакат «Обязанности гражданина СССР». Чтобы знали, где живем.

И осталось мне только три стенда освоить — «Здравоохранение Ленинграда в XI пятилетке», «Решения XXII съезда КПСС — в жизнь!» и грамоту Горздравотдела «Лучшей поликлинике г. Ленинграда», как моя очередь подошла.

Сунулся я к двери и столкнулся нос к носу с медсестрой, которая объявила, что на сегодня прием закончен.

— Как закончен?! Почему закончен?

— Вы через вестибюль шли?

— Ну, шел. Мне к врачу надо. У меня живот…

— Объявление читали?

— Зачем мне объявление? Вот мой номерок. У меня живот…

— Объявления надо читать. Там ясно написано: «Сегодня, 26

августа 1972 г., прием больных со второй половины дня отменяется в связи с очередным совещанием партхозактива»!

Вздохнул я тяжело, потрогал бедный мой живот и стал вспоминать: где-то на фонаре я видел приклеенную бумажку «Лечу и заговариваю все болезни. Спрашивать тетю Нюру».

Водолазы

Однажды темным ноябрьским вечером зашел я к своему другу Алеше, на огонек.

Угостил он меня рюмкой водки, бутербродом с ветчиной и сказал:

— Пойдемте-ка, Лев Самсонович, погуляем, мне надо Умку выводить.

Умка — огромный нюфаундленд, не простой, а особенный. Во-первых, он гигант среди своих собратьев и занимает треть Алешиной комнатки, где с трудом размещаются многочисленные книжные полки, телевизор, аудиоаппаратура, скульптура и живопись (подарки знакомых художников), стальная штанга с внушительными блинами, две гантели, по пуду каждая, стол, стулья и даже диван для спанья.

Во-вторых, Умка очень умный. От чего так и назван. По команде «Умри!» он разваливается на полу и раскидывает лапы так, что жить уже становится вообще негде, и знает команды «Сидеть!», «Стоять!», «Лежать!», «Гулять!» и, по уверению Алеши, все остальные слова русского языка.

Умка человеколюбив. Ни один гость не может устоять (в прямом смысле) перед обаянием Умкиного обаяния и гостеприимства (весь в хозяина!), когда он с радостным рыком встает на задние лапы, а передними падает на грудь входящего, и облизывает ему голову, обильно смачивая ее слюнями.

Впрочем, у Алеши все особенное. Например, у него был попугай, говорящий на многих языках. У этого попугая была еще одна особенность — свой редкий дар он проявлял только наедине с Алешей, а при гостях молчал, как рыба об лед.

До Умки у Алеши был красавец щенок чау-чау, владевший, по рассказам Алеши, восточными единоборствами. Да и сам Алеша — человек не ординарный, а, попросту говоря, даже очень особенный.

Физик, ювелир, скульптор, йог, натуропат, каратеист, мастер спорта по плаванию, щедрый и добрый человек… Что еще?

Причем, если по поводу зверей и птиц автор позволяет себе легкую тень сомнения, то в отношении Алеши все сказанное — чистая правда.

Можешь ли ты, читатель, просидеть неподвижно в жутко закрученной позе пранаямы три часа без движения, позируя скульптору?

А он может.

Можешь ли ты чисто и точно огранить кабошон, а потом

закрепить его в тонком серебряном кружеве филиграни?

А он может.

А кто из вас может поднять наполненный едой холодильник «Мир» и спокойно держать его полчаса, слегка выгнув могучую спину, пока бестолковый хозяин холодильника мечется по кухне в поисках нового подходящего места?

Пробовал ли кто-нибудь из вас лечебно проголодать тридцать дней и при этом остаться живым?

А кто из вас может восемь часов подряд строгать доски и при этом без перерыва читать наизусть стихи современных поэтов?

«Слава, слава, слава героям! Но им уже довольно воздали дани…»

Поговорим теперь о том, с чего мы начали.

Итак, в сырой ноябрьский вечер мы с Алешей и Умкой вышли на восьмую линию Васильевского острова и направились к Неве. Умка, только что получивший за экстерьер золотую медаль, шагал спокойно и величаво, иногда неторопливо сваливая свою медвежью голову к встречным собакам, а те шарахались в сторону, наполняя могучую грудь Алеши гордостью и сознанием собственного достоинства.

Мы подошли к Неве и спустились по гранитному спуску до самой воды. Нева чернела широкой бархатной лентой, с золотыми пульсирующими проблесками, отражая дальние фонари. Где-то недалеко от нас у гранитного парапета расположилась веселая компания с гитарой. Кто-то играл, кто-то пел, иногда пение прерывалось взрывами общего смеха.

— Сейчас я покажу вам самое главное, — торжественно объявил Алеша, — посмотрите, как он плавает.

— Ты разве не отстегнешь поводок?

— Нет, поводок длинный. А если его отпустить, он уплывет так далеко, что мне придется за ним самому плыть, — сказал Алеша и скомандовал: — Вперед!

Умка оттолкнулся всеми четырьмя лапами и прыгнул с плюхом в воду. Поводок резко натянулся, и Алеша с таким же плюхом оказался в Неве…

В кожаной куртке, брюках и сапогах, он совершил круг вокруг черной Умкиной головы и подгреб к ступеням набережной.

— Хватайся! — закричал я, согнувшись крючком и протягивая руку.

— Нет уж, лучше я сам, — мужественно (и разумно) пробулькал Алеша и ухватился за мокрую, обросшую зелеными водорослями ступень, но рука соскользнула.

Не выпуская поводка, он повторил то же движение, но зацепиться не удавалось, вся нижняя ступень предательски

поблескивала скользкой зеленью. Умка весело плавал рядом и поглядывал на Алешу — эта игра видно была ему по душе. Что делать?

Я бросился к поющим.

— Ребята! Помогите! У меня друг тонет!

Парни жутко обрадовались и с криками «Полундра! Человек за бортом!» побежали вниз, девчонки с радостными воплями «Человек тонет! Человек тонет!» помчались за ними в предвкушении интересного зрелища.

— Э, да тут их двое! — с изумлением воскликнул высокий в кепочке, — а ну, становись в цепочку!

Парни мгновенно образовали цепь. Высокий в кепочке низко нагнулся, подал Алеше руку, тот уцепился — дружный рывок! и Алеша оказался на невском берегу, твердо сжимая в кулаке проклятый поводок.

Совместными усилиями, под аплодисменты девчонок, был вытащен и Умка, который тут же энергично отряхнулся, щедро забрызгав своих спасателей, сменивших аплодисменты на визг и хохот.

— А что, твой друг плавать не учен? — спросил один из парней.

— Ты что? — обиделся я. — Он мастер спорта по плаванию!

Это мое заявление вызвало новый приступ хохота у всей компании. Немного передохнув и набрав в рот воздуха, другой парень спросил:

— А собачка какой породы?

— Это ньюфаундленд, — гордо сообщил я, — или водолаз. Специальная собака для спасения на водах.

Ребята (все они были слегка поддатые) просто повалились друг на друга от хохота, потом подхватили подруг и потопали наверх, бросив нам напоследок:

— Ну, водолазы! С вами не соскучишься!

На другой день я позвонил Алеше и спросил, как он после ноябрьской ванны.

— Я отлично, а Умка заболел.

— Что такое?

— Чихает, кашляет, не ест, нос сухой, температура высокая. Мы с мамой всю ночь не спали, компрессы ставили, под тремя одеялами держим…

— Ну, водолазы! — сказал я. — С вами не соскучишься!

Эфиопочка

Прилетев в Израиль, мы поселились в одноэтажном чистеньком коттедже с белыми стенами, красной черепичной крышей и двумя великолепными темно-зелеными кипарисами. К своему удивлению, мы оказались соседями многодетной эфиопской семьи. На мой вопрос, какое отношение негры имеют к евреям, Таня четко и подробно ответила мне, что, во-первых, эфиопы не негры, а европеоиды, а во-вторых, это племя приняло иудаизм еще во времена царя Соломона и сохранило еврейские традиции до нынешних дней. Поэтому в израильском понимании они гораздо больше евреи, чем российские иммигранты, утратившие язык и религию.

Из ее разъяснений я усвоил поразившую меня истину: «настоящий еврей тот, кто подчиняется законам Торы, а не тот, кто записан в пятом пункте советского паспорта».

Чудеса!

Значит там, в России, я был евреем, со всеми вытекающими оттуда последствиями, а здесь, будучи атеистом-интернационалистом, я стал «русским». Хотел я этого или не хотел.

Эфиопские дети отличаются от российских не только цветом кожи, но и своей неиссякаемой подвижностью, спортивностью и ловкостью. Они бесстрашно гоняются на велосипедах, бойко играют в футбол, водят свои эфиопские хороводы и быстро осваивают общие игры белых детей. Эфиопские девушки привлекательны своей стройностью и щедрыми улыбками. Маленькие дети, как правило, очаровательны, а иногда и сногсшибательно красивы.

Так в одном детском хороводе я заметил юную красавицу трех-четырех лет. Тонкие европейские черты лица, шоколадная кожа, огромные карие глаза с яркими белками и рот до ушей. Я решил, что обязательно ее нарисую. Бросился домой, схватил альбом, подозвал ее пальцем и сразу приступил к делу.

Не тут-то было. Эфиопские дети, видимо, никогда не видели рисующего человека. Они навалились на меня всем коллективом, окружили, тесно обжали с боков, а моя красавица, усевшись на колени, периодически вырывала у меня карандаш и пыталась меня щекотать. Сама она хохотала беспрерывно, обнажая два ряда белоснежных крупных зубов. В такой тесной любвеобильной компании я никогда не рисовал и быстро понял, что с этими ребятами мне ничего не сделать. Поэтому я встал, отряхнул с себя коричневых ребятишек и не солоно хлебавши вернулся

домой.

Я рассказал Тане эту смешную историю.

Папа, — мрачно сказала Таня, — ты сделал большую глупость. — Ты не должен был ее рисовать.

— Почему? Кому я помешал?

— Ты находишься в чужой стране, имеешь дело с незнакомым народом.

— Никого я не обидел. Я просто хотел нарисовать девчушку и наверно подарил бы ей рисунок.

— Да. А представь, что у этой девчушки к вечеру поднимется температура.

— Ну и при чем тут мое рисование? Что за чушь!

— Да. Объяснить тебе, что за чушь, придут эфиопские мужчины с палками…

1 июля 2003

Условные рефлексы

Рассказ записан под диктовку Льва Самсоновича в конце 2005 г.

Фото с тигренком

Скульптурная работа

У меня зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Михаил Давыдович. Олин папа.

— Здравствуйте, Михаил Давыдович. Рад вас слышать!

— Лева, у меня к вам дело. Хотите порисовать двухмесячных тигрят на свободе?

— Как это на свободе? И как насчет намордников?

— Слушайте сюда! Вам представился уникальный случай, а вы колеблетесь! Эти тигрята остались без материнского молока и были бы обречены на голодную смерть, если бы не энергичное вмешательство молодых ученых — они подыскали для тигрят только что родившую собаку с достаточным количеством молока. Пишут диссертацию на тему «Развитие хищников в бытовых городских условиях. Условные рефлексы».

Михаил Давыдович перевел дух.

— Ну, решайтесь, и я через десять минут буду у вас на

машине.

— Поехали!

Я схватил альбом, карандаши и пластилин и выскочил на улицу. Машина уже ждала меня, как обыкновенного министра. Нетерпеливый Михаил Давыдович стукнул дверцей, и мы помчались в поселок Колтуши, где располагалась лаборатория знаменитого физиолога Ивана Петровича Павлова, занимавшегося в то время изучением рефлексов в необычных условиях у обезьян, рептилий и хищников.

Мы прошли на кухню, сопровождаемые звонким лаем кормилицы наших тигрят — небольшой серой овчарки — и сразу наткнулись на них. Они сидели в углу комнаты общей кучей.

В первую минуту знакомства тигрята разочаровали меня. Я ожидал увидеть что-то пушистое, бело-оранжевое, трогательно-детское, что-то вроде большого котенка. А увидел нечто совсем иное: серую с примесью охры шкуру, холодный пристальный взгляд зверя. И все это в трех экземплярах. Звали их Тайга, Тайфун и Таймыр. Один экземпляр уже сидел у меня на коленях и норовил, используя меня как подставку, перелезть на стол. Я не мешал ему. Тигр на письменном столе как натурщик — в этом было что-то новенькое, неизбитое. Я, как нож в масло, входил в науку и чувствовал в ней себя вполне комфортно.

Кинокамера Михаила Давыдовича равномерно жужжала у меня за спиной, я повернулся к аппарату так, чтобы мой энергичный профиль отчетливо запечатлелся для современников.

Плюх! Что такое?

Мой натурщик стоял на краю стола, с интересом разглядывая им содеянное. На полу валялся смятый кусок пластилина, минуту назад бывший незаконченной композицией «Тигр в засаде». Потом оглянулся, подгреб своей широкой лапой карандаши и резинки… Но тут я уже вмешался: схватил его за шиворот со всеми его рефлексами и отправил на пол.

Между тем, пока я воевал с Тайфуном, на моих свободных коленях уже оказалась Тайга, готовая повторить маршрут своего брата-хулигана. Пользуясь удобным трамплином, тигрята устроили конвейер: не успевал я смахнуть со стола одного, как на его месте появлялся второй, а третий уже готовился к прыжку на колени.

Дело было плохо. Михаил Давыдович не отрывался от кинокамеры, оставив меня на растерзание тиграм.

Я бросился к телефону:

— Лена! Выручай! Приезжай! Не можешь? Малер? А у меня тигрята! Очень милые! Да, пушистые! Сироты! Запиши адрес…

Через час дверь на кухню отворилась, и в щель заглянула

Лена. Она тут же зажала нос и с воплем «Какой кошмар!» кинулась открывать форточку. Но подкрепление оказалось недостаточным, и творческий процесс пришлось свернуть.

Прошла неделя, и Михаил Давыдович снова позвонил мне.

— Сегодня будем работать над рефлексами на воле. Мне нужен помощник. Поехали!

Мы загрузили «артистов» в рюкзаки и поехали за город в поисках укромного местечка, где могли их выпустить. В районе Токсово мы нашли то, что было нужно: маленькую полянку рядом с грунтовой дорогой, огороженную с одной стороны густым кустарником, а с другой — двумя поваленными соснами.

Михаил Давыдович вооружился своей аппаратурой, а я вступил в должность охранника: моей задачей было хватать тигрят, пытавшихся спрятаться в частом кустарнике, и возвращать их на полянку. Яркое солнце и теплый день, видимо, пришлись тиграм по вкусу, и они разыгрались, быстро освоившись в новой обстановке.

— Митька! Зови пацанов быстро! Здесь цирк показывают! — раздалось над самым ухом, и на нашей полянке, откуда ни возьмись, появилась целая толпа мальчишек и девчонок, которые с хохотом и выкриками бросились ловить наших тигрят, игнорируя и нас, и всю советскую науку с ее задачами и проблемами.

С каждой минутой народ прибывал, бурно реагируя на бесплатное и редкое зрелище. Михаил Давыдович что-то кричал мне. Судя по интонациям и отдельным словам, я понял, что требуется моментальное решение. Что-то надо было делать… И вдруг меня осенило.

Я заверещал, что было сил:

— А ну, мотайте все отсюда, да поживей, а то худо будет!

— Чего разорался! Что тебе, жалко, что ли? — бросил мне пожилой мужик, хмурый и решительный. — Пускай люди посмотрят, может, кто у тебя одного и купит…

С озабоченным выражением на лице, я сказал защитнику народных интересов:

— Мне-то не жалко. А вот тебя-то, и правда, жалко.

— Чего? — угрожающе зарычал мужик. — Да я тебя сейчас…

— Дурак, — сказал я. — У меня же в кустах мать!

Минута — и лужайка опустела. Только хруст сухих веток из-под ботинок удирающих зрителей был слышен за кустарником.

Я отер пот со лба, а Михаил Давыдович пожал мне руку.

БОЛЬНИЧНЫЕ РАССКАЗЫ

Клубника

Вася, столяр из Кимр. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Мы ентих заграничных видали, их как-то по-чудному зовут. Туристы или еще как. Ага, туристы.

И вот приходють енти туристы на базар. У нас в Кимрах клубника крупная, хрушкая, вот они, значит, за клубникой на базар.

Пришли. У ворот, на базаре-то, лавка стоит. Из неструганых досок така лавочка. И вот енти туристы, немцы, кажись, с плеч рукзаки скинули, на лавку составили рядком, а сами по клубнику пошли. Вот смех-то! Ну, конешно, клубнику купили, а в Москву-то уж без рукзаков…

Потом другие приехали. Теи уж видно ентим рассказали — почем клубника в Кимрах. Енти рукзаков на лавку уж не кладут. На себе носят по базару. А ребята им все рукзаки сзаду бритвой изрисовали. И вещи обратно оттеда потянули.

Ну вот, значит, когда третьи приехали, теи уж не так. Как на базар — так вот глянь на меня — вот так рукзаки себе с плеч на пузо перевешали, рукам обхватали — и так по базару. Вот смех-то!

Выучили ихнего брата, как по Расее гулять!

Катаракта

Дед из Семипалатинска, столяр, 71 г. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

«Как катаракту мне в Харькове сняли да стали выписывать, я у врача спрашиваю:

— Доктор, а можно мне на радостях выпить как следовает?

— А сколько же ето — как следовает?

— Литр, — говорю.

У няво глаза на лоб полезли.

— Как ето, — говорит, — литр? Неужели ты за раз литр выпьешь?

— Нет, — говорю, — что вы, доктор. За раз нельзя. Я к обеду поллитру раздавлю, а вечером мне опохмелиться надо ай нет? Я вторую поллитру почну полегоньку. Сначала стаканчик, потом другой, потом остаточек… И так мне спать сладко будет!..»

После операции в ленинградской больнице дед обратился с той же просьбой к своему лечащему врачу. Тот категорически отказал. Дед разволновался. Побежал к начальнику отделения, и тот после долгого разговора разрешил немного. Дед вернулся в палату довольный и, уходя, написал благодарность начальнику отделения, не упомянув своего врача который его оперировал и возился с ним месяц.

Посохшие ноги

Дед из Семипалатинска, столяр, 71 г. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Когда я мальчишкой был, ноги у меня посохли. Болят да не ходят — прямо бяда. Батя меня на станцию повез к дохтуру. Дохтур посмотрел, ноги пошшупал и велел мазью натирать. Полягчает, мол.

Стали мазью натирать — ничаво. Никакого толку. Еще пуще ноги похудели, я уж и с печи-то не слезаю. Вот батьке мужики-то и говорят: «В дальней деревне, верст, почитай, за сорок, бабка живет. Макеиха. Ты к ней ребенка и свези. Вылечит».

Запряг батя коня и повез меня к бабке. Цельный день ехали, к темну приехали. Встретила нас бабка. Старая, вся съежилась, сгорбилась. Посмотрела мои ноги, да батю ругать: чаво, мол, раньше не привез.

— Таперечи я ничем помочь не могу. Правда, есть, — грит, — последнее средство. Купи ты, — грит, — три шкалика спирту.

Парня на печи посади, зипуном укрой, а ноги на сковородку теплую пущай поставит. И в тую сковородку спирту шкалик налей. И пущай сидит, преет. Ежели начнут ноги спирт сосать, значит, пошло дело. И так три дни делай.

Так и сделали. Посадил меня батя на печь, как бабка велела, спирту шкалик на сковородку вылил. Сижу я под зипуном, прею. Пот с меня льет, а сижу, терплю, а сам пальцем все в сковородку тычу — проверяю, сосут ноги ай нет. А палец все мокрый — хоть ряви. Нету спасенья ногам моим! А тут вдруг чувствую — палец сухой! Я батю звать. Поглядели — и вправду нет спирту! Высосали ноги весь шкалик!

Назавтра другой шкалик высосали ноги, а на третий день только половину. Больше не стали сосать. Значит, не надо им больше, так бабка и сказала. Ну что ж. Стали ноги меньше болеть.

Прошла неделя, к Пасхе слез я с печи. Потом и к окошку дополз — посмотрел, как ребята играют. А потом и во двор пошел. И совсем вроде хорошо мне стало, только хромаю маленько.

Вот мы с батей раз выехали в поле. Я на возу лежу, а он рядом шагает. А навстречу дохтур идет, тот самый.

— Ну как, — грит, — Митрич, поправился у тебя Петька?

— Поправился.

— Вот я говорил — мазь втирай.

А батя осерчал, видно, возьми да и ляпни:

— Не от твоей дурацкой мази он поправился, а от средства бабки Макеихи!

А дохтур спрашивает:

— А что же это за средство?

Батя возьми ему и расскажи. Тут он усмехнулся так и грит:

— Ну, наделал ты, Митрич, делов! Таперича у парнишки ноги пропали. Ведь твоя бабка спиртом ему кости сожгла!

Сказал и пошел. А батя, как стоял, так рот открыл и стоит. А я реветь. Приехали к избе, я не могу идти. Боюсь ходить на сожженных костях…

Обратно он меня на печь усадил. Обратно у меня ноги болеть стали.

Да поболели с недельку да и перестали. И совсем я хорошо пошел. С тех пор уж я и германскую прошел, и финскую протопал, и все с этими сожженными, и все нипочем.

Холодная вода

Федя Алюшин, дед из Колпино. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

— Откуда ты, Федя?
— Я смоленский рожок.

Чифом я болел. Долго. Чемпература кажный день тридцать девять, тридцать восемь. А тут в палату одному мужику жельтерской принешли. Ох мне и жахотелось же жельтерской!

А врачи говорят — нельзя! А меня ражобрало — холодного хочу и все тут! А нас все чёплой водой поили. В кружках.

Вот дождался я, как врачи уйдут. Взял кружку и на карачках с лешницы сполз к пожарному крану. Отвернул, нацедил шебе кружку. Уыпил. Так мне хорошо штало! Я вторую уыпил. Ишшо лучче штало. Я третью. Четвертую налил и в палату понес. Туда на карачках полз, а обратно бягом бягу. Прибег, кружку на тунбочку поставил. На койку лег. Шлышу — врачи идут. Я шкорей пить — штоб не отняли. Ишшо полкружки уыпил — напился!

Врачи приходют, шпрашивают:

— Алюшин! У чебя в кружке чего?

— Вода, — говорю.

— Так ты холодную воду пил?

— Ага, пил, — говорю.

— А школько уыпил?

— А вот, — говорю, — три ш половиной кружки.

— Ну, таперича помрешь!

— А и пущай помру! Жато холодной воды напился!

Вот ляжу и жду, когда помирать начну. Шестра приходит. Градусники штавить.

— Мне, — говорю, — не надо. Все равно помру шкоро.

А шестра:

— Мое дело маленькое — штавь да и все!

Потом на градусник шмотрит: тридцать шесть и шесть. Утром — тридцать шесть и шесть! А через неделю выписали.

Вот чебе и холодная вода!

Самогон

Федя Алюшин, дед из Колпино. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Кладовшшиком я работал. Приходит комишшия.

— Алюшин! Шлыхать, у тебя шамогонка в кладовой хранится!

— Ишшите, — говорю.

Пошли они ишкать. И на полкам и под полкам, яшшики усе попереворачивали. Жапарились. Два часа, почитай, шуровали. Сели на яшшики, дышуть чижало.

Председатель говорит:

— Федя! Ну шкажи ты нам от шердца — есть у тебя шамогон ай нет?

Я говорю:

— А вы что, уыпить хочете?

— Да уыпил бы, — говорит. — Жапарился…

— А наливай, — говорю, — из графина. Вишь, графин на штоле штоит?

Он на меня шмотрит дико:

— Шмеешься над нами?

— Нет! Жачем шмеяться? Вы бы шразу шказали: уыпить хочем! Бяри да наливай!

Он графин берет, наливает, понюхал и говорит:

— Верно!

Я говорю:
— Ишшо ба не верно! Шам гнал!
— Ну и Федя! — говорит. — И откуда ты такой, Федя?
— Откуда? Да я шмоленский рожок…

Кирпичи

Вовка-слесарь с Кировского завода. Ленинградская глазная больница. 1962 г.

У нас слесарь один после получки поллитру принял и заснул.

Славка говорит:

— Давай ему на пузо кирпич положим — проснется или нет?

Положили. А он спит-храпит, и пузо у него вверх-вниз ходит. И кирпич ходит.

Славка говорит:

— Тащи еще.

Мы еще пять штук положили. Спит. Потом еще шесть положили, всего двенадцать положили, а он так и не проснулся!

А которые у нас в ящике для стружек металлических любят кемарить. Токарь один. Мы туда рукав провели и тихонько воду пустили. И что ты думаешь? Не просыпается! Во дает! Вода текет, а он только как захлебываться стал, так и проснулся.

А которых просто так — из рукава обдашь, и тоже встают.

А нас не. Не трогают. Потому в монтерке пьем, и если завалимся, то под щитом, а им скажем: «Если вы нас обливать будете, то попадете на щит, и вас через воду убьет».

И ничего. Не трогают. Боятся.

Телеграмма

Филатовский институт. Одесса, 1963 г.

На отделение пришла почта. Передаю полученную телеграмму старичку-грузину. Он плохо говорит по-русски.

— Милинашвили! Вам телеграмма из Тбилиси. Прочитать?

— Да.

Читаю: — «Вызываетесь для телефонного разговора Тбилиси, 17.00, 27 ноября, номер заказа 349». Поняли?

— Нэт!

— Закарзян! Идите сюда! Милинашвили телеграмма. Надо перевести. Грузинский знаете?

— Канэшна, знаем! Читай тэлеграм!

Читаю.

Закарзян: — Сэйчас пиривидом!

Орет в ухо Милинашвили, хотя тот слышит хорошо:

— Милинашвили! Тэбэ тэлеграм пришел. Панымаэш? Тэбэ син Тыбылыси вызывает! Заказ тэбэ пришел! Хадыт тэлэфон нада. Панымаеш?

Милинашвили: — Нэт.

— Нэ панымаеш? У тэбэ башка ест? Пачиму нэ панымаеш? Еще адын раз гаварит буду! Тэбэ заказ Тыбылыси вызываит. Син у тэбэ ест?

Милинашвили: — Нэт.

Закарзян: — Как нэт, как нэт? Гаварыл три син ест, а тэпэр нэт?

Милинашвили: — Да.

Закарзян: — Тэпер да? Уже син радыл? Тэбэ тэлефон хадыт нада, син гаварыт будэш. Завтра гаварит будэш.

Я вмешиваюсь: — Сегодня. В пять часов.

Закарзян: — Сыводня. Пять часов. Панымаеш?

Милинашвили: — Да.

Закарзян: — Я гаварыл — пиривидом!

Урок русского языка

Филатовский институт, Одесса, 1963 г.

Закарзян: Сестра пришель, укол хотэль дэлат, никого нэ нашель и ушель.

Маробьян: Почему, скажи, пожалуйста, говоришь: «сестра пришель, систра ушель?» Надо говорит: «систра пришла, систра ушла»…

Закарзян: Ты молодой, да?

Маробьян: Ну, молодой. Что ты хочэшь этим сказат?

Закарзян: У тэбя зубы ест?

Маробьян: Ест.

Закарзян: А у меня на букву «а» зубов нэ хватает. Понял?

Ладога

Иван Петрович Давыдов, шофер, 51 г. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Я про себе хочу рассказать. Я у Якубовского личный шофер был. Он был начальник ледовой трассы. Три ромба носил. В ноябре трасса открылась, и погнали туда машины. Работали день и ночь, только как ростепель на Ладоге, так стоим.

Я у Якубовского спросил раз: «Чего это мы столько машин гоняем и, день и ночь, возим да возим?» А он: «Сейчас, — говорит, — и суток мало. Если, — говорит, — не будем возить, помрет Ленинград с голоду».

Ну и гоняли. А Ладогу то приморозит, то развезет.

Вот раз выехали мы с ним.

Он говорит: «Гони быстрей. Сводку передавали, что потает».

Поехали. Навстречу машины идут. С того берега. Муку везут. Потом реже пошли. А уже вечер был. Фары я включил, но с защитными колпаками мало свету все равно. Вот едем, а я смотрю — что-то блеснет впереди. Подъехали — вода.

Я говорю: «Как, мол?»

А он: «Валяй, поезжай помаленьку. Это сверху вода, а снизу лед. Мне, — говорит, — на тот берег надо, хоть убейся».

Ну, поехали по воде — помаленьку. А кругом тепло и ветер. Градус нагоняет. Навстречу машина идет.

Я остановил, спрашиваю: «Как там впереди?»

Он говорит: «Еле проехал. Там, — говорит, — ветер лед ломает. Я, — говорит, — последний. Вам не проехать, вертайте назад».

Якубовский спрашивает: «А пешком можно?»

Тот шофер говорит: «Машина не пройдет, а пешком — кое-где лед стоит крепкой».

Якубовский говорит: «Поезжай, покуда можно».

Поехали. Скаты у меня чуть не по оси в воде. Кажну минуту жду — провалюсь. А уж мы далеко уехали. Полдороги, а может быть, еще боле того прошли.

Как раз на прошлой неделе тут случай был. Автоколонна шла, и головная машина провалилась. В пролубь. Недалеко от берегу. Как и не было ее. Колонна встала, шоферы выскочили — куда там! Вода одна. Да круги поверху.

Один вдруг всех растолкал: «Привязывайте меня — нырять буду. Тут неглыбоко».

Капитан говорит: «Отставить! Нельзя».

А тот: «Не привяжете — *та́к* нырну. Там брат мой, Лешка».

Привязали его. Веревку в руках держут. Так он, — можешь себе представить? — три раза нырял. Обмерз весь. Ледом покрылся, фуфайка вся во льду. Ничего не вытащил. Самого потом в санбат свезли. Выжил. Потом робятам говорил: «Машина близко под водой была, дно — вот оно, рядом, да дверцу заклинило. Не смог открыть, как ни дергал. На третий раз уж стекло в кабине разбил, до брата дотронулся, да пообмер сам».

Да. Мы, значит, едем. И чувствую я, что не доедем — потонем. И впереди вода, и сзаду. Не так, что все время в воде, но по леду с километр проедем, обратно по воде. Тает. И ветер сильный. А уж тут не знаешь, куда лучше ехать. Все же, впереди дороги *ме́не* осталось до берегу. Только я это подумал, как у меня переднее левое колесо провалилось.

Вылезли мы. Сначала он. Он справа сидел, а за ним я.

Он говорит: «Бросай машину, пошли!»

Я говорю: «Вы идите, а я тут жердей поищу, может быть, вытащу колесо-то». — Машина-то хорошая. Не ломанная ни в чем.

Он и пошел один. А я стал рыскать вокруг. Там жердей валялось много, ими дорогу, значит, направление ставили — куда ехать. Набрал жердей, возвернулся, а моя машина уж всем передком в воду ушла, да и не подойти к ней — така трещина стала. Ну, думаю — надо Якубовского догонять, тут уж не до машины.

Пошел. А впереди трещит все — така пальба. Лед ломает. Шел, шел — обратно трещина передо мной. Вода. Черная. А я жердины-то с собой волочу. Ежели где перебираться или подо мной треснет. Но тут вижу — ходу нет. И то обидно, до берегу уж недалеко — километра три или пять. Видать берег. Повернул, пошел обхода искать. Да уж где тот обход! Эта трещина аж по всему берегу дала. А я пошел налево, ну и тут вдруг льдина-то обратно — как переломится! Метрах в четырех от меня. И дыбом встает. Я от нее ходу. А и там уже вода. И не знаю, как я очутился, но со всех сторон вода, а посередке моя льдина плавает. Потом ее к другой поднесло. Та поболе была. Потом и ее переломило. Ветром на меня воду-то так и наливат, так и набрызгиват.

И вот, можешь себе представить, четырнадцать часов так я с льдины на льдину прыгал. А уж днем меня катерок подобрал. Спасательный. Его по трассе пускали в ростепель. Потому много народу, вот как я, оставалось.

Втащили робята меня в катер. Сняли одежу и спирту дали. А у меня кожа ну вся бела, и если пальцем надавить — ямка остается. Это меня холодной водой четырнадцать часов кропило.

Ну, на берег свезли. В санбате денек полежал в тепле. И все. И обратно — шоферить. А пошел бы я с Якубовским, и проскочил бы. Он ведь ладно прошел. Только у берега у самого уж вода была, так он метров двадцать по пояс прошел.

Другой раз гнал я машину порожняком. Тожа дело в ростепель было. Ночь. А я с того берега на этот ехал. Навстречу мне машины идут, люди тоже пешком идут. Тогда много из Ленинграду пешком по Ладоге уходили. И кучей идет, и по одному тожа. А дальше уже и нет никого. Один еду, думаю — проскочить бы успеть. Еду, проглядываю вперед-то. Кабы полынья или пролубь какая не оказалась.

Впереди люди. Трое. Рукам машут. Подъехал — офицеры. Один майор, кажись, был.

«Стой!» — командуют. В машину залезли. «Вези», — говорят.

Поехали. Едем не торопко, объезжаю я трещины. Ветер сильный на Ладоге. Холодеть стало. Это лучше — лед крепче.

И вот опять спереду человек. Идет, ковыляет. Подъехал — женщина. Така вся закутана в платок. И очки. Видно, с городу, да заплутала, да обратно пошла.

Мне: «Возьмите меня. С сил, — говорит, — выбилась».

Я говорю: «Лезь».

А теи, офицеры, ни в какую! «Поезжай!» — велят. А ей: «Отойди от машины!»

Я говорю: «Товарищ майор, машина не ваша. Пускай лезет, ведь здесь погибнет. Не дойти, мол, ей».

А он: «Молчать! С кем разговариваешь? Поезжай, и все тут!»

Я говорю: «Это машина Якубовского. Я у него личный шофер».

А он ТТ вынул и на меня: «За невыполнение приказу — расстреляю!»

А я думаю: ах ты, мать твою так! Ну что тут будешь делать? Нажал я на педаль. Так она, можешь себе представить, на подножку прыгнула и висит, с нами едет. Так один взял да дверцу открыл, ее дверцей и сбило. Она в снег и повалилась. Закричала чего-то, а мы дальше поехали.

Ну что будешь делать, когда он ТТ у башки держит! А они, вишь, боялись, что лед тонкой, а нас уж и так четверо было. Ну а пятая — все же вес.

Довез их до берега, там батареи стояли в ельнике. Вот они там и сошли. Мне погрозили: мол, мотри, до тебя доберемся. А я уехал, да Якубовскому рассказал. Да не то время было, чтоб их искать.

Самовар

Иван Петрович Давыдов, шофер, 51 г. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Привез батя самовар с городу.

Тогда самовар был редкость, а у нас в деревне первый.

Самовар был медный, матка его золой начистит — горит он — я тебе дам! К нам с суседних деревень смотреть приходили. Ей бо!

Вот заходит раз сусед. Хомута просит у бати.

— Петр Севастьяныч! Дай ты мне хомута!

А мы как раз из самовару чай пили. Отец и говорит:

— Испей чайку, попробуй!

А тот:

— Да не пил я его сроду. Не хочу!

— Да ты испробуй! Я тебе сахару дам!

— Ну, давай! Што это за баловство городское!

Нацедил ему батя стакан, прямо с самовару. А он только скипел, ешшо уголья краснелись. Сахару отколол, дал два куска.

И мужик этот, можешь себе представить? Сахар в карман положил — робятам, — а стакан двумя руками взял, а руки-то в рукавицах были, да как плеснет в горло, как водку!

Ну тут, можешь себе представить, крычит, по полу катается, выбежал во двор, снег хватает, глотает…

Долго потом болел мужик этот.

Золотишко

Иван Петрович Давыдов, шофер, 51 г. Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Вот как НЭП прошел, стали золото у людей искать. Отобрать чтобы. Приказы вывесили, чтобы золото сдать. Ну, у кого было, те попрятали, а у кого и вовсе не было. И вот всех, про кого думали, что у них золото — в Чека.

У меня там брат двоюродный работал. Чалуев ему фамилие. Матрос он был, а потом в Чека, значит. Вот людоед был! Чего он мне рассказывал! Сколько он людей пострелял!

Дом есть на Гороховой. Дом два и дом четыре. Так оттуда кажное утро по две подводы шапок вывозили. А про Чалуева даже в Военно-морском музее документы есть.

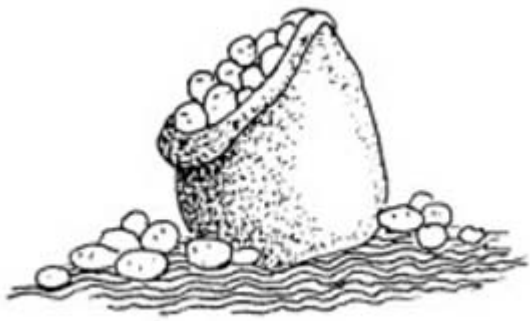
Он к нам в деревню еще до НЭПа приезжал. С женой. Так бабы до того напугались — за околицу не выглядывали. Особенно ее. Он в бушлате — и она. Он с наганом — и у ней наган. Сама в брюках, стрижена, глазами зыркат, ну, бабы и попрятались, как от сатаны.

Да. Я хотел про золото рассказать. Значит, соберут всех, кого забрали, и им: «Сдавайте!» Они туда-сюда — нет, мол. — «Нет? Хорошо!» — И их всех в комнату, метров двадцать. Человек пятьдесят запустят, рядами построят, и стой четыре часа. Потом в коридор выгонят. — «Есть золотишко-то?» — Ну, кто послабже, тот и отдает. А у других и вовсе нету! Обратно их в тую комнату. Еще четыре часа постой-ка. Тесно, душно. Которые сердечники, теи падают, а упасть-то негде, потому очень кучно стоят. Через четыре часа обратно в коридор. — «Сдавать будете?» — И вот так всю ночь. Ну, кто припрятал, тот отдаст, а у которых и правда нет…

А Чалуев, тот потом не то спился, не то, люди говорили, с ума сошел. Потому человеческой крови напился — не смог жить.

Картошка

Иван Петрович Давыдов, шофер, 51 г. Ленинградская глазная больница, 1962 г.



Давно это было. Двадцатые годы, што ли. Я мальчишком был.

К нам в школу с Ленинграда учительница приехала. Молодая. Худая такая, все на уроке в платок куталась. Опосля уроков, мы уже уходить стали, она вдруг встала и нам говорит: «Погодьте, робяты, что я вам скажу». А сама смущается, даже голос у ей другой. «Вы, — говорит, — робяты, у отцов ваших испросите продать картошки, кто сколь может. Я, — говорит, — с Ленинграда, нечего есть совсем».

Ну, я домой пришел, батьке сказал. Он сразу пошел в гоубец, картошки в мешок меры три насыпал и говорит: «Завтра в школу отнесешь, а денег не бери. Понял?» Я говорю: «Понял».

На другое утро идем мы с робятами в школу через лес. Они тоже мяшки тащщат, кто две меры, кто пут. А я и говорю робятам: «А чего это без денег картошку отдавать?» Да. Ну, мы и сговорились, чтобы, значит, деньги взять.

Ну, и взяли с ее деньги. А батьке я ничего не сказал, знал, что бить будет.

Как шкерили рыбного мастера

Павел Трофимович Осмиченко, капитан Ленинградская глазная больница, 1962 г.

В 53 году была объявлена амнистия. И вот жулики эти прямо валом на флот подались. Мы бы их рады не брать, но тут политический момент — надо помочь людям встать на честный трудовой путь, туда-сюда — короче, вся эта шпана на корабли пошла. Народ деньгу любит, а у нас заработки большие.

Так что эти братишки там вытворяли! Вот так просто говорят, работают, окуня шкерят, есть ножи специальные шкерочные, широкие, а через секунду уже пошла-поехала! Чуть не вся команда полощет друг друга. Что предпринимаем? А что тут предпринять? Если далеко от берега, то тут одна меня — запрись в каюте и жди, пока само поутихнет, а там уже с основным составом выходишь, кого повяжешь, кого запрешь. Из тех, кто остался.

А у берега то же самое. Милицию по радио запросишь, она отвечает: «Обходитесь собственными силами».

Вот, например, случай был. Поспорили матросы с рыбным мастером. Рыбный мастер, известно, матросов гоняет, когда окунь идет. Да. Ну а тут они где-то напились, и к нему четверо.

«Ты, гад, говорил, мы шкерить не умеем? Сейчас покажем — умеем!» Его в каюту. Раздели догола и на стол. Тут как раз боцман зашел туда. Боцман у меня здоровый, он как вошел и вид видит: лежит рыбный мастер на столе голый, двое держат, а двое с ножами наклонились над ним. Шкерить собираются.

Боцман тут сходу одному ногой в живот, а второму в зубы. А кулак у него — во! Тот свалился, а рыбный мастер соскочил со стола и тоже нож схватил. В общем, отняли у них ножи, и я их в

Мурманске списал и передал в милицию. Да это еще чепуха, то ли было…

Барс

Полковник А. В. Шаповалов Военно-медицинская академия, 1986 г.

Ну, ребята, ко мне сегодня соседа-иностранца положили. Сирийца. По-русски — ни бельмеса. Сам в голубой костюм одет, «Адидас» на груди, нашу пижаму не одевает.

Я ему: «Как тебя звать-то?» А он зенки вылупил и улыбается, тыр-тыр чего-то по сирийски, а я-то по-сирийски не могу. Я на себя показываю, говорю: «Шаповалов Александр Васильевич. Полковник в отставке. А ты кто?» Он понял: «Кракс», — говорит, или Фарс, вроде. В общем я его Барс зову, он откликается. Чудной какой-то. В палату вошел, радиолу японскую — во радиола, с чемодан! — на тумбу поставил, штору узлом завязал, чалму себе на голову из полотенца сделал, сел по-турецки на койке, тетрадку развернул и пишет справа налево! Ну чистый Барс!

А может, и не Барс, но я-то туговат на уши стал после операции на мозгах. Мне в Москве в нейрохирургии операцию делали, опухоль удаляли. Ну, с ней вместе немного мозгов прихватили. Профессор говорил, не больше полстакана.

Я Барсу говорю: «Продай костюм, я тебе сто рублей дам». А он чего-то лопочет: Сирия, Сирия… Потом свою тетрадку достал, листы пополам разделил и стал русский учить. Я его учу — называю предметы, а он записывает по-сирийски, как по-ихнему и как по-нашему.

Тут в прошлом году лежали тоже всякие негры-тигры. С Кубы двое и с Йемена Абдулла. Тот весь черный, только ладошки светлые и по-русски тоже не говорил. Ему клизму перед операцией назначили. Сестры повели в туалет. Там баллон с кишкой висит. Ему говорят: «Давай, снимай штаны». А он пальцем на глаз показывает — что, сюда? Ему говорят: «Не сюда, а в другое место». Сестра его за штаны, он перепугался и бежать. Ну а в дверях Нина Владимировна встала, весь проем загородила, не убежишь! Эта баба — будь здоров, ее на койку положить — с каждой стороны еще на треть свесится. Она его хвать на лавку, штаны спустили и давай клизму заправлять. Потом сестры говорили: замучились мы с этим Абдуллой. Тыщу клизм ставили, а там ничего не видать, все черно — темно, как у негра в желудке.

Вот как трудно больному без языка. Он и врачам объяснить не может, что у него…

Я в войну капитан был. В десантных войсках. Потом уже

майора получил, а в Берлине подполковника дали. Мы тогда на Бранденбургских воротах расписывались. Кто углем, а кто мелом. Кто фамилию свою писал, кто матюки. Что хотели, то и писали.

Елена Николаевна! Я вам сейчас свою фотокарточку достану, покажу. Это я в парадной форме и при орденах. Восемнадцать правительственных наград. Ну как, влюбиться можно? Ну, вам не нужно, у вас свой есть.

А сейчас я военкомом у себя в Иваново. Призывы осуществляем. Всех мальчишек с шестнадцати лет на учет берем. Шестьдесят процентов — гниль одна: желудок, нервы… Годных получается процентов сорок-пятьдесят. А кто уже призывники, тоже народ разный попадается — то баптисты, то хиппи. Я им лекции по международному положению читаю, беседы проводим.

Вот пришел один такой хиппи на призывной пункт. Волосья грязные до задницы, рубашка американская с наклейками, джинсы синие, к джинсам рыболовные колокольчики пришиты. Идет и звенит. У нас там — красота! Понимаешь — агитпункт! Паркет натертый, зеркало сто пятьдесят на семьдесят в золоченой раме, на стенках присяга, члены политбюро висят в красных рамках, а он идет по натертому паркету и звенит!

Вот подошел к красному столу, где комиссия сидит, и спрашивает по форме, как его научили: «Допризывник Егоров. Товарищ военком! Разрешите задать вопрос председателю призывной комиссии!» Я говорю: «Разрешаю. Спрашивайте.» А он: «А можно вообще не служить в армии?»

Вот гад!

— А вы что отвечаете?

А по мозгам! Первым делом зачитываю Конституцию. Статья тридцать первая: защита отечества есть священный долг гражданина СССР. Потом Уголовный кодекс, статья двести сорок шестая… Помогает.

Родители тоже несознательные бывают. Ну все, как один, спрашивают: «А в Афган не пошлете?»

— А вы что?

А по мозгам! Статью тридцать первую опять зачитываем. Потом разъясняем: мы никого никуда не посылаем. Мы — призывной пункт. Дальше уже комплектовка. Кого куда — это не наше дело.

Вообще, политика нашей партии и ЦК — правильная. Вон как здорово мы нашим Чернобылем этому Рональду дали по мозгам! Может, начнет теперь соображать, что атом — это не шутка!

Да, водочка теперь дороговата стала. Не каждый себе позволит. Но в народе говорят: вода дырочку найдет! Алкаши теперь, говорят, на дихлофос перешли. Не, не так просто, дурных

нет, а вот если в кружку пива из баллончика раз прыснуть, ну чуть-чуть, нажал и отпустил, то через пять минут, говорят, полный балдеж и кайф получается. Вот до чего люди додумались!

Тройной одеколон теперь дефицит, вроде бы деликатес, попробуй купи! У меня в Иванове мой бывший водитель живет на пенсии. Так он мне рассказывал: два флакона примешь, и в самый раз! Пить, правда, неприятно, но зато потом в туалет пойдешь, сядешь, дашь и сидишь, как в сиреневом кусту!..

Там в соседнюю палату одну бабу привезли. Молодая, фигуристая. Я познакомился. Говорю: «Я хоть и старый, а ты меня со счетов не сбрасывай». Она говорит: «Вы первый на очереди».

Вот так! А вы, молодые, зеваете. Сама из Челябинска. Работает в исполкоме в отделе культуры. Что она делает в отделе культуры? Кто бы спрашивал, а то Самсоныч! Ты что, не знаешь, что в культуре делают? Вот был 26 съезд партии. Будет 27-й. Вы, художники, плакаты, лозунги разные пишете?

— Пишем.

Вот. Вы краски разные подбирать умеете, буквы рисовать — тоже, а что писать, не знаете. А она знает. И вам задания дает.

Ребята, я вам Барса привел. Барс, скажи ребятам «здрасьте». Вы ему кричите погромче, он же по-нашему ни бельмеса. Балис, скажи ему что-нибудь по-литовски, может, поймет? Вот чертов сириец, неделю учу, а толку нет. Радиолу продать не хочет. Я даю ему двести рублей и в придачу галоши за шесть двадцать пять — не хочет. У них в Сирии таких галош нет. Эти галоши у меня в Иванове с руками оторвут. А он, дурак, не хочет…

Шахтер

Никифор Григорьевич Мисюра Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Я прахвэссору так и сказал: «Я вам не Белка и не Стрелка. Какого хрена мне в глаз двадцати человекам лезть? Я вам посмотреть дал? Дал. Варваре Алексеевне дал? Дал. Еще одному хлыщу в очках дал? Дал. Вы что-нибудь увидели? Нет. Так что же эти курсантики увидят?»

Я дело понимаю так: я вам уголек для Ленинграда даю? Даю. Чтобы вам и вашим детям тепло было. А вы мне глаз дайте. Чтоб видел. А учиться на мне вашим придуркам не дам. Все.

С тех пор прахвэссор ко мне не подходит. Как нет меня в палате. Да и хрен с им, грубый он человек.

Что это здесь за порядки? Человеку водочки выпить нельзя! Кому, может, и нельзя, а мне одна польза. Я ее просто так не пью, не привык, и мне от нее хорошо.

Я дома встаю в пять часов. Ничего не ем. Жбан квасу выпью, и все. Квас у нас свой, бабка варит. Хлебный. Я большой любитель квасу. На шахту пошел — с собой колбасу беру, краковскую. Сколько? Вот интересно — вопрос ленинградский — сколько колбасы. Двести грамм или сто пятьдесят? Мы не так живем. У меня подвал. В подвале висят три окорока. Колбас краковских (краковскую я любитель) штук двадцать. Бочка огурцов, бочка капусты. Сало. Грибов соленых бочка. Ну там мука, крупа — не интересуюсь, черта лысого там у бабки нет.

Ну вот. С шести смена начинается. Я уголек рублю и одновременно колбасу эту и сжую до обеда. В обед в одиннадцать часов нас поднимают на гора. Идем в буфет, там берем борщ, второе — шницель или рамштекс какой, и по сто пятьдесят на каждого. Это закон. Больше я не даю. И ребят приучил. Я бригадир — мне отвечать. Потом обратно — вкалывать. В два часа кончай базар. На гора, душ и домой.

Дома бабка ждет с обедом. Она у меня вологодская. Кацапка! Я ей: «Вань-тя, глянь-тя! Сгони воробья-то с руля-то! Баржа потонеть!» Вот начнет разоряться! Хохлы да хохлы! А я ей: «А что ж ты за хохла замуж пошла?»

На обед, значит, суп с мозговой костью. Любитель я их. Потом картошечки она мелко нарежет и в сале пережарит — красота! К обеду поллитра законно. Ну, грибков соленых миску съешь, другую. Все. Часок всхрапнешь — и порядок. Жбанчик

квасу после сна — хорошо!

У меня в бригаде помощник Федька. Он язвой мучился год. Я однажды говорю ему: «Все! Я тебя, Федька, от язвы вылечу. Будешь у меня жить и есть то, что я ем. Понял?» Он туда-сюда, как же так же? Я говорю: «Все! Я сказал — ты понял».

Два месяца у меня жил. И что ты думаешь? У парня сейчас язвы нет. Вот только пить здорово выучился. Пьет, подлец, больше меня.

А вообще у нас бригада — такие хлопцы — один за всех, все за одного. В меня, как в Бога, веруют. Что я сказал — закон. А как же? От меня и заработок его зависит, и жизнь. Верно. У нас же шахта сверхкатегорийная. Кругом газ — метан. Чего недосмотри — взорвет все к ядреной матери. А народ молодой, в бригаде я один седой. Им все хаханьки.

Спички один пронес. Я бригаду поднял, поставил и говорю: «Смотри, как на шахте технике безопасности учат». И два раза ему приложил. Собственноручно. Три дня он, бедолага, по больничному лежал. Врачиха спрашивает: «Что с вами?» Он говорит: «Породой зашибло. Технику безопасности не соблюдал»… А сейчас ничего — вкалывает. Друзья мы с ним.

Раньше заработки лучше были. Теперь Хрущ прижал. Не то дело. Ужесточение расценок, мать их в гроб.

Вот один раз прихожу я в бухгалтерию наряды закрывать. Что такое? Всей бригаде с гулькин хрен выписали. Мне — комбайнеру, бригадиру — и то пять двести пятьдесят! А я до этого семь, семь с половиной огребал. Я говорю: «Это почему же?» А бухгалтер, сука: «Ужесточение расценок по всему Союзу плюс недовыполнение шахтой плана, то да се…»

Я говорю: «Это кто план недовыполнил? Я? У меня весь месяц 120–150 процентов!»

«Не можем, — говорит, — больше платить».

«Ах не можешь, сука, мать твою перемать! Все. Завтра бригада на работу не выйдет».

Пошел, ребятам сказал. Вот на другой день мы ровно в шесть у ствола собрались, вниз не спускаемся. Шум пошел.

Меня вызывают к начальнику шахты. «Ты что, Мисюра, бузу поднимаешь? Не понимаешь момента?»

Я говорю: «Николай Федорович! Ты посуди сам — ведь ты сам шахтером был. Сидишь ты сейчас в кабинете, бумаги подписываешь, портьерой накрылся и двенадцать тысяч в карман кладешь. А неужели я под землей за паршивые пять гробиться должен? Да что здесь — шахта или колхоз?»

Он говорит: «А сколько тебе выписали?»

«А вот это уже разговор, — говорю. — Сейчас нарядики

принесем, и вы их пересмотрите». И к окошку, Федьке свистнул. Он уже по лестнице дует — наряды несет.

Начальник говорит: «Я ничего пересматривать не буду».

В это время Федька в дверь так вежливенько постучал, морду просовывает и говорит: «Можно войти?» А в руке пачка нарядов.

Начальник вскочил с кресла да как заорет: «Мисюра, тебя с комбайна снимаю! С бригадиров снимаю! Кузнецов! — это Федьке — Принимай комбайн и живо на работу!» А Федька: «Не имею права, Николай Федорович! Нет у меня водительских прав. Загублю комбайн, вам ничего не будет, а мне сидеть».

А меня смех разбирает. Как это Федька сказал: «Можно войти?» И откуда, сукин сын, набрался? Ведь такой матюжник — первый на шахте. Его за это даже «диктором» прозвали. А тут — «Можно войти?» Артист!

Ну, в общем, ушли мы ни с чем. До обеда проволынили, перекурили у ствола, анекдоты покидали.

Меня припугнуть хотел! «Снимаю с бригады!» Да закатись она в рот, твоя бригада и шахта! Меня любая шахта Воркуты с руками оторвет. Народу не хватает, а тут комбайнер со стажем. Десять лет с комбайна не слезаю. Валяй — увольняй. Кто тебе план давать будет? Да разговоры это одни. Вообще этот мужик, Николай Федорович, — мужик правильный. Сам шахтер был. Он в конце квартала меня вызывал: «Мисюра, поработай дополнительно, будь друг!» А я — пожалуйста, почему не уважить! У него, видишь, шахта идет на перевыполнение плана, а там какой-то процент не дотягивает. А если процент дотянет, ему прогрессивка, премия. Он свое дело туго знает. Мы повкалываем два дня сверхурочно, а нам в буфете — открытый счет! Как министрам! Ешь, пей — хоть лопни! В прошлый раз хлопцы на две тысячи набузовались, еле ноги домой уволокли. Шахта богатая — ей эти две тысячи, как гулькин хрен!

Да. Меня к парторгу шахты. Он пошел мне крючки забрасывать: «Ты, — говорит, — коммунист! Как же ты такое допускаешь?»

«Ах, — говорю, — я коммунист? Так ты же сам, сука, коммунист. Ты здесь наверху сидишь и шесть тысяч получаешь за то, чтобы меня подгонять. Хочешь — давай переменимся — валяй в шахту за мои пять, а я сверху буду тебе политбеседу читать за шесть… Я, — говорю, — мать твою в гроб, в душу, в Спаса, не за то в Сталинграде кровь проливал, два ордена имею, чтобы меня каждая блоха кусала! Как сказал, так и будет! Заплатите по старой — пойдем вкалывать. Нет — не будет угля. Все!»

Федька бежит до меня: «Никифор Григорьевич! Начальник сказал — выходи на работу, разберемся!»

Вот это уже другой разговор!

Мы сразу вниз. Я говорю ребятам: «Ну, вкалывай, как боги!»

И за полсмены мы девяносто восемь процентов выдали! Во, что значит бригада! А за всю смену — сто пятьдесят!

В бухгалтерию прихожу — другая картина. Мне шесть двести и бригаде всей повысили. Жидковато, правда, но что тут поделаешь!

Костомукша

Иван Андреевич Сидоркин Военно-медицинская академия, 1986 г.

Я из Костомукши. Это на севере, на самой границе с Финляндией, 130 км до Полярного круга, запретка.

Костомукшский металлургический комбинат часто по телевизору показывают. Комбинат финны строили нам по договору. И поселок на тридцать пять тысяч построили. Из своих материалов. Там пятиэтажки и девятиэтажные дома. У меня квартира двухкомнатная, 27 и 10 метров. Кухня метров 16–18. Там холодильник, две шведские мойки, шведская электроплита, раковина, полубуфет, разделочный стол, вся сантехника шведская. Гарантия на десять лет. И верно — я уже шесть лет там живу и ничего ни разу не отказало. Ванна большая, просторная. Стены — цветной пластик, и пол такой же. В полу сток, я могу душ в ванне принять, могу на полу, это все равно. Все кругом залью, помоюсь, потом душем со стенок мыло смою и тут же включаю принудительную вентиляцию. Пока оделся — все сухо.

Вообще, Костомукша сейчас по всей Карелии считается городом номер один по культуре, чистоте и благоустройству.

Петрозаводск на втором месте. Снабжают нас хорошо. Финских продуктов много: «Виола», колбасы, масло, яйца.

Откуда такое название? Это карельская деревня была, «коста» — гора, «мукша» низменность. Вот и пойми: гора-низменность.

Как тут руду обнаружили? Во время войны, говорят, наши самолеты летали, и у них над этим местом приборы стали отказывать. Они доложили. Геологи сказали: наверное, руда, большое месторождение. Это была их земля, финская. А после войны наша стала.

У меня телевизор две программы берет — нашу первую и финскую. Я часто финскую смотрю. Там своего кино почти нет, они дуют либо наши фильмы, либо английские или американские. Наши я смотрю обыкновенно, там внизу только титры финские; американские — и так все понятно: выстрелы, мордобой, разврат. Если удлинненка, то иногда до четырех ночи сидишь, хватился — а в семь на работу! Мать честная!

Недавно включил я финнов, думал, реклама, а на экране Сталин с Молотовым и их президент Кекконен. Это они старый документальный фильм показывали, как границу делили в сорок пятом году. Озвученный. На столе карта. Молотов с Кекконеном

над картой, а Сталин в сторонке стоит, трубку курит. Переводчик Молотову: «Президент спрашивает, где границу будем ставить?» Молотов карандаш взял и линию провел. Кекконен вроде бы недоволен. Показывает: не так, а вот так надо. И переводчик говорит: «Президент не согласен». Тогда Молотов говорит: «Пусть товарищ Сталин решает». А Сталин стоит, трубку курит и молчит. Долго курил. А эти ждут. Потом карандаш взял и говорит: «Я думаю, что товарищ Молотов правильно указал границу». И снова карандашом по линии Молотова провел.

Так Костомукша к нам и отошла. А потом туда уже геологоразведка выехала в пятидесятых годах, подтвердила руду. А строить начали семь лет назад. Подписали с финнами договор, они прислали пять тысяч рабочих и все сделали чин по чину.

Койвисто к нам на открытие приезжал. Речь произнес. О дружбе, мирном сосуществовании, сказал, что город красивый, чистый, потом вдруг сказал: «Костомукша — это наш город!» Все даже рты разинули. И не хлопал никто.

Между прочим, на здании горисполкома два флага висят: наш и финский, белый с голубым крестом.

А строили финны так: где дома планировали (у нас же там лес сплошняком, сосна, береза), так они, где дома планировали, на каждое дерево ленточку привязывали: белую — спиливать, красную — оставить. Спилят, потом у каждого пенька корни вручную подпилят, подрубят, чтобы другие деревья не повредить, а потом аккуратненько, эти пни трактором вытянут и уберут. У меня около дома сосны, ни одна ветка не сломана, в окна торчат.

А где пни стояли, землей насыплют, траву посеют. Я на работу иду, рядом лесок, грибов насбираешь сумку. Машинам у нас, в центре, проезд запрещен, чтобы воздух чистый был. Автобусы ходят по кольцу за центром, а в центре только скорая, милиция, пожарная. Ну, а если частные машины или вещи подвезти к дому, то по разрешению ГАИ.

Мэр, говоришь, у нас умный? Да, умный. Один другого умней, уже четвертый сейчас. И все с Украины, с Кривого Рога почему-то.

Финны, когда поселок оборудовали, шведскую сантехнику привезли. И запасного оборудования много, ванны, раковины. Ну так весь этот запас на Украину пошел. Мэра сняли. Под суд. Второй появился. В это время финны нам как раз вагон обуви подарили. Для поощрения рабочих, которые отличились. Ну так верхушка себе обувь поразобрала, а остальное в Кривом Роге и Днепропетровске продавать стали через кооперацию. Третий тоже на чем-то погорел, не знаю.

А я на грейдере работаю. Рублей семьсот-семьсот пятьдесят

получаю. Надбавка за полярку.

У нас граница рядом. Нам везде на предприятиях политбеседы проводят, чтобы мы пограничникам содействовали. А я им и так содействую. У нас полярная ночь семь месяцев. Снегу навалом. Я дороги чищу, а начальник заставы просит: почисти нам площадку и вокруг заставы тоже… Я — пожалуйста, мне час работы грейдером, а им вручную три дня копаться. Ну, если поздно, то и заночуешь у них на заставе. Дадут чистое белье, тумбочку, порядок. Поужинаешь, водочки выпьешь. У начальника всегда есть, они работают вместе с таможней, поэтому водочка всегда есть.

На заставе четыре собаки. Три овчарки и одна маленькая, черненькая. На наркотики обучена. Вот где хочешь спрячь наркотики, а она найдет. Один раз автобус финский осмотрели — все чисто, а она лает, бросается. Стали снова осматривать — все чисто. Она не отступает, лает на скаты. Пришлось колеса снять, покрышки разбортовать, камеру вынуть. Камеру спустили, стали щупать — что-то есть! Разрезали камеру, и там полно наркотиков. Это же он подрезал, вставил и завулканизировал, думал, ни один черт не найдет. Так нашелся же черт, нашел!

Другая собака на водку обучена. Тоже прячь — не прячь, бутылки везде найдет.

Третья на шпионов — специализация такая. Вагон с углем на ту сторону был на путях. Собака его облаяла. Ее в сторону тянут, а она обратно. И что же ты думаешь? Вагон в тупик завели, весь уголь выгрузили, а под углем большой ящик, а в ящике человек притаился.

А четвертая собака — на антисоветскую литературу. Где хочешь, найдет. Как отличает? Очень просто. Те журналы, газеты, которые финны к нам на столиках везут или на сиденьях, она и глазом не моргнет. Она тайники вынюхивает. Как тайник, так лай на всю границу. А в тайниках известно что — запрещенка.

У нас среди финских рабочих много коммунистов. Как у нас праздник — первое мая или седьмое ноября — они группой своей к демонстрации примыкают. Мимо трибун идут и «Интернационал» по-своему поют. Мы финнов спрашиваем: где лучше — у нас или у вас? А они отвечают: вы думаете, что лучше у вас, а мы думаем, что лучше у нас…

Ну, как они договор выполнили, комбинат и поселок построили, большинство уехало. Сегежу строить и в Кондопоге что-то тоже. Тут наши стали строить два жилых дома. Ну, наши уже пошли по-нашенски. Первым делом два гектара леса спилили начисто. Потом пни бульдозерами с землей, со мхом развезли по краям этого участка. И там бросили. Теперь куда ни пойдешь из

этих домов, везде на вывороченные пни наткнешься. Качество, конечно, уже не сравнить. Финны асфальт везде укладывали, гранитный бортик точно ставили, а наши бетонку провели, цемент при морозе клали. Сейчас где покололся, где колом торчит, подходы плохие.

Около озера на горе бор стоял красивый, самое красивое место вокруг. Там решили дополнительный цех строить. Бор спилили. Потом уже наш главный архитектор появился, и цех стали в другом месте за городом строить. А гора вся в пнях осталась. А я через эту безалаберность здесь оказался.

Зимой начальник сказал: «Почисти снег вокруг комбината». Я говорю: «Дорога ровная? Под снегом ничего нет?» Он говорит: «Что ты мудришь? Финны асфальт клали, отваливай смело!»

Я и развернулся со своим грейдером. Опустил нож до самой земли, дал газ на третью скорость, 45 километров в час, и пошел вперед. Машина идет отлично, нож отваливает мощные валы, и вдруг удар!

Головой я в баранку врезался, тело перекинуло с сиденья вперед, ноги пробили ветровое стекло и на кузове оказались. Рама погнулась, грейдер встал. Ребята меня с кузова сняли без сознания, всего в крови.

Потом оказалось: нижняя челюсть сломана, шесть зубов снизу выбиты и сверху семь. Сотрясение мозга, контузия. Четыре месяца рот лечил, челюсть, теперь все зубы вставил, с контузией еще два месяца пролежал, на работу вышел, на кран.

Недолго проработал, зрение стало падать. Оба хрусталика мутнеть стали. В прошлом году здесь в Академии одну катаракту сделали, искусственный хрусталик поставили. Со стеклом десять строчек читаю. А сейчас второй глаз делаю.

Я потом уже узнал, на что налетел.

Нашим строителям зачем-то понадобилось стальную трубу в асфальт поставить. Они ее вбетонировали, а потом, как уже не нужна стала, сваркой срезали, а десять сантиметров над асфальтом оставили. Вот на этот остаток я и наткнулся. Если бы нож чуть выше пустил, проскочил бы, а я ее под самый корень ударил…

Точка зрения

Филатовский институт, Одесса, 1963 г.

Папиросный дымок голубоватыми разводами медленно рассеивается в тусклом боковом свете лестничной площадки.

Мы стоим рядом с белой, местами облупленной дверью, ведущей в отделение, и поем.

Слава облокотился о перила, левая рука его с папиросой мерно взлетает в такт мелодии, покачивается, останавливается и снова плывет, оставляя за собой легкий расплывающийся хвост дыма.

— Врешь, — говорит Слава с нажимом. — Третий раз врешь… Ты прислушайся внимательно и вторь. — Он наклоняется ко мне ближе и, понижая голос почти до шепота, мягко и задушевно, как бы уговаривая, начинает: «Я трогаю русые косы…»

«Ловлю твой задумчивый взгляд», — подхватываю я осторожно.

«Над нами родные березы», — чуть усиливая голос, придвигается ко мне Слава.

«Чуть слышно о чем-то шумят…» — негромко заканчиваем мы половину куплета, и Славина рука взлетает вверх, предостерегая, а я зачарованно слежу за ней, подчиняясь повелительному жесту. Высокая и чистая мелодия звенит где-то наверху под сводом, и жутко мне глядеть в неподвижные глаза темноволосого певца, и нехитрая песня приобретает особый смысл в его исполнении, потому что вовек не видать ему ни берез, о которых он поет, и никогда не встречать ничьего взгляда.

Славе двадцать лет. Несчастный случай привел его два месяца тому назад сюда, в Филатовский институт. Врачи исследуют его, смотрят различными приборами, что-то решают, вздыхают… и не назначают операции. По их недомолвкам, по обрывкам пойманных на слух непонятных латинских терминов, по осторожному, нарочито предупредительному отношению он уже понял, что дело его безнадежно. Мир для него погас бесповоротно и навсегда, и он замкнулся в себе — один в своем горе, в своей тьме.

Внешне эта замкнутость проявляется в нарочитой резкости в ответ на любые попытки разговорить его, сблизиться с ним. На вопросы он огрызается, на приветствия отмалчивается, на шутки ругается злобно и многоэтажно. Процедур, заполняющих долгие досужные часы больных, ему не назначено; витамины, которые

сестра дважды приносила ему в палату, он пошвырял на пол — больше ему их не носят.

Вечерами, когда врачи расходятся по домам и процедуры закончены, больные сходятся на лестничной площадке, где висит плакат «Место для курения» и там обмениваются больничными новостями, травят анекдоты, курят и поют. И когда случайный хор нестройно затягивает что-то, неизменно появляется Слава. Ощупывая перила и находя ногами ступеньки, он обычно отходит в сторонку и, повернувшись спиной, молча курит папиросу за папиросой. Я, не видя его лица, замечаю, как непроизвольно реагируют его руки, подрагивая в такт мелодии, а иногда нетерпеливо и досадливо отбрасывая что-то невидимое в сторону.

Дождавшись следующего вечера и выследив Славу, который пошел курить, я проникаю на лестничную площадку и, почти не сомневаясь в результате, тихо начинаю напевать про русые косы. Не проходит и минуты, как Слава начинает дергаться, всем корпусом поворачивается ко мне и к моей радости резко обвиняет меня в фальши. Я обиженно требую показать, как надо петь…

И вот мы поем вместе, и несильный, но приятный тенор ведет меня и еще троих незаметно подошедших сзади и включившихся в песню. Мы стоим тесным кружком и поем уже в полный голос, а Слава забрался на ступеньку и дирижирует, отбросив папиросу, обеими руками властно останавливая одних и подбадривая других, и мы подчиняемся ему и поем, поем слаженно!

— Вы шо, сдурэлы, чи шо? — вылетает на лестницу дежурная сестра, — Шо вам тут, больниця, чи вулыця? А ну геть по палатам видсиля!

Мы обрываем песню, смеемся, ругаемся для порядка и расходимся. Слава тоже фыркает, довольный, и говорит в пространство, стоя боком ко мне:

— Слушай, ты — как тебя звать?

— Львом.

— Лев, ты приходи на площадку, мы еще споем, я научу тебя вторить.

— А сам-то ты откуда умеешь?

— Ну, я — дирижер-хоровик… Вернее, учился… А теперь…

— Я приду обязательно, — быстро говорю я. — Ты еще научишь петь меня «Журавли», а то я их путаю с «Фонарями».

— «Журавли»?! — брови Славы удивленно взлетают. — С «Фонарями»? — И вдруг, я даже вздрагиваю, он смеется — первый раз я слышу, как он смеется!

— Ну, Лев, ты даешь! Так ты приходи, когда эта стерва уйдет…

— Я приду, — обещаю я, — А насчет стервы не робей, мы ее

сделаем… Давай я тебя доведу до палаты.

— Пошли, — говорит Слава и берет меня под руку.

Мы делаем два шага вперед.

— Осторожно, дверь, — говорю я, — вот дверная ручка.

— Ты видишь ее?

— Да.

— Это счастье…

Генка

Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Мы лежим уже месяц в палате: Павел Петрович, Генка и я.

Генка красивый. Высокий, плечистый, большие карие глаза под темными бровями хорошо торчат из-под светлого чуба.

Павел Петрович — слесарь из депо. Худой, солидный, говорит немного, но веско. Свою травму воспринимает спокойно, болезненные процедуры переносит мужественно, обшучивает наше лежачее положение.

Вышли врачи, ослепив нас сверкающей белизной халатов, брезжит серый мартовский свет из больничного окошка. Рокочет Генкин басок, и возникают перед моими закрытыми глазами картины далекого Казахстана…

— У нас самое время — уборка. Хлеб возить — поспевай, шоферня! В день по восемь, десять поездок с хлебом делаем. Нагрузят — и даешь на элеватор. Разгрузился и назад. Весь день по жаре носишься. И все за те же восемьсот. Правда, на уборке подкидывают. Шофер тут — главная фигура. Павлуша, будь добр, налей водички! В горле пересохло. Вон графин стоит.

Павел Петрович встает, хромая, дотягивается до графина и наливает воду в стакан. Генка и сам мог бы встать и взять воду, но почему-то так повелось, что Павел Петрович его постоянно обслуживает, несмотря на то, что его состояние хуже, чем Генкино.

Я слышу, как смачно льется вода в Генкино горло, потом стук пустого стакана, поставленного на тумбочку.

— Машина у меня хороша! ЗИС-150. Знаешь? Тянет, как черт. У нас дороги знаешь какие? Ленинградские шоферы на наших дорогах ездить не могут. Он что? Он к асфальту привык и у нас не тянет. А я по степи жму на все восемьдесят-девяносто, и ничего. Ночи у нас темные, сбиться ничего не стоит, заедешь ночью в степь — и ночуй там. А утром, глядишь — дорога километрах в полсотне осталась.

— Ну, это ты загнул! — вставляет Павел Петрович.

— Ничего не загнул! У нас же степь! Понимаешь? Ровное место! Куда хочешь — туда и езжай! Днем дорогу видно, а ночью — ни черта. Только козы из-под фар выскочат, да опять в темноту.

— Что за козы в степи? — спрашиваю я.

— Козы? — оживляется Генка. — Степные. Дикие. Их там до

черта. Вот я вам расскажу, как я за козой гонялся. Дело было летом, так? Гнал я машину в колхоз. Бак у меня полный, еду не торопясь. В колхозе обождут. И вдруг гляжу, метрах в пятидесяти от дороги — коза! Я сразу баранку влево — и к ней. Она как дунет в степь! Я за ней. Сначала она по прямой шла. Быстро бежит, проклятая! У меня на спидометре за шестьдесят, я ее из виду не выпускаю, за ней держу. Потом она начала направление менять. То влево пробежит метров сто, то вправо. А мне же лучше. Срезаю ее на прямой. Стал к ней приближаться, знаю, что скоро уставать начнет, там я ее и возьму. Вот уже я за ней метрах в двадцати оказался, вижу — дышит тяжело. Притомилась. И вдруг смотрю — что за хрен такой? Перед машиной не одна, а две козы!

— А ты, случайно, не того перед дорогой? — хмыкает Павел Петрович.

— Нет, ни грамма! — смеется Генка. — И вот, веришь, вторая коза прямо перед машиной бежит. Метрах в трех скачет. А та, моя старая, в двадцати дует и вправо вбок забирает. Вот скажи — за какой гнаться? Я дал газ и на новую, думал, колесами сомну. Вывернулась! И дует влево, обратно же, метрах в трех-пяти впереди машины. Тут я и смекнул. Та, которую я раньше гонял, то козлушка была. А это козел, видно, ее выручать пришел. На себя, значит, принял. Ну а мне что? У меня бак полный. Бензин казенный. Дал я за этим козлом. Злость меня взяла, думаю, хоть до часа ночи буду гонять, а загоняю насмерть. Так ты подумай — два часа я за ним гонялся! Сначала, как козлушка ушла, он ходу дал. Думал, уйдет. Но я, знай, жму на педаль. Мое дело телячье — сиди в тепле да крути баранку. Потом он, видно, уставать стал, как-то тяжело скачет, обратно же зигзаг стал давать. Я тоже не тороплюсь. Думаю: сколько ты ни бегай, а от техники тебе не убежать… Ну и встал он. Дышит. Бока так и ходят. Я подъехал, а он и не бежит. Умотался. Я за рог хотел взять — он отскакнул. Я за ним. Он еще дальше. Ах ты, думаю, сволочь! Сел в машину, включил газ и его бампером сшиб. Вылез и прирезал. Шесть килограмм мяса взял.

— Шесть килограмм? Хорошо! — говорит Павел Петрович.

— Да, а водка у меня была. Так что мясо как раз пришлось. Я водки сразу два ящика в магазине взял. Столичной. У нас столичная — редкость, так что уж если завезут в магазин, то обязательно ящик-два возьмешь.

— В общем, попили!

— Попили, поели и баб поимели.

Тишина. Пауза. Я слышу, как чиркает спичка, и ноздри улавливают сигаретный дым.

— Кури, Павел!

— Не хочу. Бросил.

— Давно?

— Давно. С утра. Профессор не велит.

— А ты плюнь на него.

— Нельзя. Он сказал: «Будешь курить — не сможешь баб любить».

Генка смеется: — Это чепуха! От курева ничего не будет. Вот тут хохол один до тебя лежал, он рассказывал, как у них в батальоне укол давали, чтобы к бабам не ходили. Это другое дело. На фронте.

— Какие же на фронте бабы?

— А тут был особый случай. Батальон связи. Видишь — у них было четыре сотни телефонисток и их, коблов, шестьдесят человек. Ну, тут только поспевай! И вдруг их всех в санбат. И противодифтерийный укол воткнули. Это им так сказали: противодифтерийный чи еще какой. А потом шесть месяцев, говорит, ни к одной бабе не ходил, и ни один из них не ходил.

— Ну, это было нужно, — серьезно комментирует Павел Петрович. — Все же военное время. А то бы весь батальон связи в тыл по декрету поехал.

— Да, командование, оно ушлое. Павел, будь друг, поправь одеяло! — просит Генка.

Павел Петрович встает, поправляет одеяло и ложится снова.

— Вот у нас насчет баб на целине — лафа, — гудит Генка. — На шофера сами кидаются. Куда ни приедешь — везде тебя бабы приласкают. Студенток у нас много на уборку приезжает. Из города. Интеллигентные. Я так всегда в этом деле машиной пользуюсь. Увезешь ее в степь, а там у меня сиденье откидное. Ну и все. И порядок.

Вот раз была у меня история. Со студенточкой. Заметил я ее на уборке. Там девчата солому отгребали. Жара была, так они платья поскидали, в одних купальных костюмах работали. Ну, я ее и приметил — гладкая, как рыбка. Стал с ней разговоры разговаривать, шуточки всякие. Как приеду, так к ней. Сначала она вроде гордо себя повела, на вы, а потом ничего, зубы скалит, сама тоже шутит. Песни с девчатами они хорошо спевали. На танцы раз ее пригласил. Танцевать идет, а дальше ни в какую. Я и так, и сяк — нет, уперлась. Ну, думаю, с тобой баланду долго тянуть я не буду. Надо тебя просто подловить, а потом сама проситься будешь. Ну, для виду я от нее отстал, а сам случая жду. И вот через пару дней — случай. Завел я машину, хотел к себе на базу ехать — ко мне девчата бегут. «Ген! У нас одна заболела, подвези до аптеки, надо лекарство взять». Я говорю: «Давай,

садись!» И надо же, лезет ко мне в кабину эта самая Наташка. Серьезная такая. «Давай, — говорит, — до аптеки, а обратно я на попутной махну. Все же тридцать километров». «Садись», — говорю. А сам думаю: «вот тебе и случай — сама в руки пошла».

«Выехали. Разговариваем. За то, за се, за жизнь. Чего-то она мне про институт плетет. Сама загорелая, и платок цветной на плечах. А кругом степь, и вдали скирды стоят. И народу никого. Я и свернул влево, к скирдам».

«Она сразу говорить перестала, спрашивает: „Это ты куда?“»

«А у меня покрышка, — говорю, — там запасная спрятана. Возьмем, да поедем дальше».

«Ничего. Сошло. Сидит. Притихла и от меня отодвинулась. А мне смешно. Что она — не понимает или притворяется? Заехали от дороги километра за три. За скирду я заехал и говорю ей просто: „Никакой покрышки у меня тут нету, а дело вот в чем. Так, по честному, объяснил. И ее сразу прижал. И что же ты думаешь? Она, оказывается, все это время руку на ручке держала. Как только я к ней, она дверцу открыла и из машины кубарем! Только трусики голубые мелькнули. Шелковые! Мне бы надо сразу, а я, дурак, ей объяснять стал!“»

— Промашечку дал! — вставляет Павел Петрович!

«Промашечку. Я, конечно, за ней выпрыгнул, но схватить не успел. Как она чесанет по степи! Я за ней, да не догнать! У нее тапки-спортсменки, а я в сапогах кирзовых. Понимаешь? Ну, побежал немного, потом опомнился — и к машине! Вскочил, дал газ — за ней. Она бежит — кросс сдает! Оглянулась, увидела, что догоняю, еще больше припустила. Я думаю: давай, давай, милая, поднажми! У меня на спидометре сто двадцать стоит! Никуда ты в степи не уйдешь! Некуда тебе уходить. А самого интерес взял. Сколько она пробежит? Вот и держусь за ней сзади, метров за пятнадцать, ни дальше, ни ближе. Смотрю — оглядывается, тише побежала. И вдруг встала. Стоит и смотрит на меня, как я подъезжаю. Подъехал. Спрашиваю из кабины: „Долго бегать будешь?“ Молчит. На меня смотрит исподлобья, дышит так тяжело. Я из кабины к ней: „Брось ерундить, ведь от техники, — говорю, — тебе все равно не уйти“. Руку протянул, а она вдруг опять побежала, да опять быстро, как будто и не бежала до этого с километр. Ну, думаю, надо кончать эту бодягу, а то он, видишь, какую тактику взяла: встанет и ждет. Пока я подъеду, она отдыхает. Отдохнет и снова чешет к дороге. А на дороге, хоть и нет никого, но может машина проехать или обоз какой. Весь мне компот испортит. Сел опять в кабину и за ней. Она уже не бежит, а идет по жнивью и на меня оглядывается. Я поехал, она встала. Ждет. Отдыхает. Ну, думаю, теперь я не такой дурак! Обошел ее и

с дороги к ней приближаюсь. Она вбок, я за ней, она к дороге, я за ней. Устала, видно, бежит, ну прямо перед самыми фарами. А я не тороплюся выходить. Пусть побегает. У меня техника. И бак полный».

— Бензин казенный, — вставляет Павел Петрович.

«Казенный, — подтверждает Генка. — Вот опять она остановилась. Смотрит на меня. Из глаз слезы».

«Ну что, добегалась?» — спрашиваю. А она мне: «Сволочь!» Тут меня такое зло взяло! «Ах, я сволочь?» — и к ней. Она от меня. Я ее за руку и на землю. Сверху упал, и вдруг она, змея, меня за руку как укусит! Аж глаза на лоб.

— Хорошо она тебя тяпнула!

«И тут, понимаешь, что получилось, — продолжает Генка возбужденно. — С руки кровь, я руку перехватил, а она вырвалась и ходу к дороге! И надо же! На дороге два ЗИСа пылят, а она к ним дует и орет на всю степь: „Помогите!“ Смотрю, ЗИСы остановились, из кузова бабы выглядывают… Я пошел к своей машине. Сел и поехал. Так и сорвалось дело».

— А ничего тебе за это не было? — деловито спрашивает Павел Петрович.

— Мне? — изумляется Генка. — А что мне будет? Она кому-то там жаловалась, да кто ей поверит? Тем более, пора горячая, уборка, целинному хлебу зеленая улица, а шофер в это время — главная фигура. Да и потом я передовой шофер, сто пятьдесят — сто восемьдесят процентов давал, как часы. Ну, кто меня тронет? Скажешь тоже!

— А с ней что потом… было? — с трудом говорю я, отрываясь от подушки.

— Не знаю! Я ее и не видал больше. Да и уехали скоро студенты, через неделю. Павлуша, а Павлуша, — обращается он к Павлу Петровичу. — Сходи за нянькой, будь друг, судно мне надо!

Павел Петрович встает и, хромая, выходит из палаты.

Венгрия

Генка Ленинградская глазная больница, 1962 г.

Шебудили в Венгрии — будь здоров!

У нас солдата одного судили. Девчонку венгерскую изнасиловал. Где? На пустыре. Там пустырь здоровый был за мостом. Его венгерцы эти ловили, но не поймали. Обозлились сильно. Почему обозлились — потому что девчонке пять или шесть лет, черт ее знает.

Ну, в часть пришли. Пожаловались. А командир говорит: «Ничего не знаю…» А что ему — он шума не хотел. Но тут шум большой пошел, конечно, родители эти обозлились, да и еще венгерцы эти тоже. Вообще, венгерцы — хреновый народ, нас не любят. Смотрит на тебя, как проглотить хочет. Вообще, наши тогда в пятьдесят шестом слабину дали. Надо было вдарить — так до конца!

Да. Так тому солдату — суд. А его научили — «ничего не помню, ничего не знаю». Суд военно-полевой. Ну и объявили его сумасшедшим. Потому, как говорят, нормальный это не мог сделать. И демобилизовали. Он — домой, а как через границу переехал, так его обратно в солдаты, и пошел топать. Только не в Венгрии, а где-то в Эстонии, что ли…

Перед операцией

Филатовский институт, 1963 г. Одесса — Ленинград

На деревянной лавке больничного коридора перед входом в операционную сидели мужчина с завязанным глазом и женщина. Мальчик лет пяти сидел на коленях женщины, зарывшись лицом в ее серый больничный халат. Он непрерывно плакал, вздрагивая всем своим худеньким телом, и звал мать куда-то, а она слишком часто гладила его по голове, прижимая к себе, и что-то говорила ему, склонив нечесаную голову.

Женщина была молода, но больничная одежда, бледное лицо, синие круги под глазами прибавляли ей лишний десяток лет. Вся она — то сгорбленная, уткнувшаяся в ребенка, то вскидывающаяся при каждом стуке двери операционной — была сплошным комком нервов: мальчик ждал операции глаза.

— Как тебя зовут? — спросил мужчина и, не получив ответа, добавил весело и фальшиво. — Наверное, Коля?

— Миша, ответь! — сказала мать, но мальчик еще глубже воткнулся в нее и заплакал громче.

— Ну, брат, так не годится, — сказал мужчина. — Воешь, как волк. А ты волка видел когда-нибудь?

Мальчик не ответил, а мать повернула лицо к соседу и грустно посмотрела на него: мол, не до разговоров ему.

Но мужчина не отступил. Он хлопнул себя по колену и встал.

— А раз не видел волка, то я тебе его покажу.

Он сходил в свою палату за тетрадкой и карандашом, положил тетрадь на колени и начал рисовать, приговаривая:

— Вот волк из лесу бежит, серый, злой… Уши торчат, глаза горят, а хвост поджал — охотника боится…

— Мишенька, Миша, — позвала мать. — Посмотри, какой волк! И правда, похоже!

Мальчик отвернулся еще больше, засопел сердито и всхлипнул.

— А вот у волка лапы — раз, два, три, четыре… — продолжал напевать мужчина. — Здоровые лапы, с когтями… А зубы — ух, какие!

Мальчик глянул одним глазком, потом отвернулся и снова заплакал.

— Видал, какой волк? — спросила мать, гладя его по голове.

— Плохой, — сказал мальчик между всхлипываниями. — Мама, пойдем назад в палату…

— А вот лиса ему навстречу, — говорил себе под нос мужчина, — бежит. Хитрая, нос черный, хвост длинный, а глаза, как щелочки…

Мальчик повернул голову, взглянул на рисунок и хотел отвернуться, но задержался и посмотрел внимательно.

— Где лиса?

— Вот, — ткнул карандашом мужчина.

— Это не лиса, — со слезами в голосе сказал мальчик. — Это петух. Ну мама, пойдем же отсюда, я не хочу здесь… — И он снова заныл, затосковал, закрыв глаза и прижавшись к матери.

— Петух? — удивился мужчина. — Да, верно, петух! Как это я перепутал? Ну, раз петух есть, теперь давай-ка нарисуем курицу.

Мальчик высунулся из-под материнской шеи и стал следить за карандашом.

— Это не курица! — сказал он сердито. — Это кошка…

— Нет, курица!

— Нет, кошка! Вот и хвост, и уши… Меня не обманешь…

— Вот сейчас будет кошка! — перевернул страницу мужчина, и карандаш быстро забегал по бумаге.

— Это же слон! — громко, на весь коридор, выкрикнул мальчик. — Дядя! Почему ты так плохо рисуешь?

Мужчина рассмеялся, а потом предложил:

— Давай, руку твою нарисую. Клади сюда руку на бумагу, и мы ее — раз, и нарисуем!

Он потянул мальчика за руку, но тот вырвал ее и спрятал за спину.

— Ну, тогда мы мамину нарисуем, — сказал мужчина, взял женщину за руку, положил ладонью вниз на чистый лист бумаги и обвел растопыренную пятерню карандашом.

Женщина сняла руку, и на тетрадном листе остался очерченный контур.

— Вот какая у мамы рука, — устало улыбнулась женщина.

— А теперь положи свою руку — посмотрим, у кого больше: у мамы или у Миши.

Дверь операционной хлопнула, и женщина вздрогнула всем телом, а мальчик установил свою ладошку на бумаге, в центре маминой руки. Мужчина взял карандаш и повел, прижимая к маленьким пальцам.

Мальчик отдернул руку.

— Ты что?

— Щекотно! — сказал мальчик.

— А ты потерпи! — строго сказал мужчина и положил руку мальчика обратно. — Мы же не закончили.

И повел карандаш опять, немного задерживаясь между

пальцами, и мальчик снова отдернул руку и засмеялся.

— Что же ты не даешь дяде рисовать? — спросила мать.

— Да он щекотит! — сказал мальчик. Он пересел с материнского колена на лавку ближе к мужчине, протянул руку и сказал:

— Рисуй, но чур не щекотать!

— Да я и не щекотал, это карандаш щекочет, — сказал мужчина, снова принимаясь за дело. — Потерпи немножко, ты же мужчина! Ну вот и готово. Теперь держи карандаш — мою обрисовывай.

— Больные, на уколы! — крикнули из перевязочной.

Мужчина привстал.

— Не уходите! — быстро сказала мать и вцепилась ему в локоть.

Мужчина подумал, присел обратно и положил руку на тетрадку.

Мальчик неумело повел карандаш вокруг большой руки, и рука отдернулась и спряталась за спину.

— Чего же ты, дядя?

— Ох, и щекотно!.. — протянул мужчина.

— Да, а мне не щекотно, думаешь, было? — с обидой сказал мальчик, вскочил с лавки и потянул руку мужчины назад. Он положил ее на место и, придерживая левой рукой, чтобы не вырвалась, стал обводить.

Мужчина, стараясь выдернуть руку, кричал: «Ой, не могу, щекотно!», а мальчик крепко держал ее, хохотал и обрисовывал толстые пальцы, приговаривая: «Вот, мне не верил? Теперь терпи…»

— Полозов Миша! На операцию! — возвестила закутанная до самых глаз во все белое сестра и взяла мальчика за руку.

Тот, повернув голову в сторону мужчины и улыбаясь, сделал два шага и вдруг понял, куда его ведут, рванулся к матери и закричал громко и надрывно, но сестра ловко подхватила его на руки. Дверь с черной блестящей табличкой «Операционная» захлопнулась.

Крики и плач мальчика слышались за дверью, удаляясь и затихая, а мать, откинувшись на лавке неестественно прямым телом, закрыла лицо сомкнутыми ладонями и застыла. Капли влаги сочились между сжатых пальцев, оставляя темные пятна на сером халате.

— Может, вам воды? — предложил мужчина, но женщина рывком поднялась, наступив на тетрадку с рисунками, и бросилась прочь по коридору на лестничную площадку.

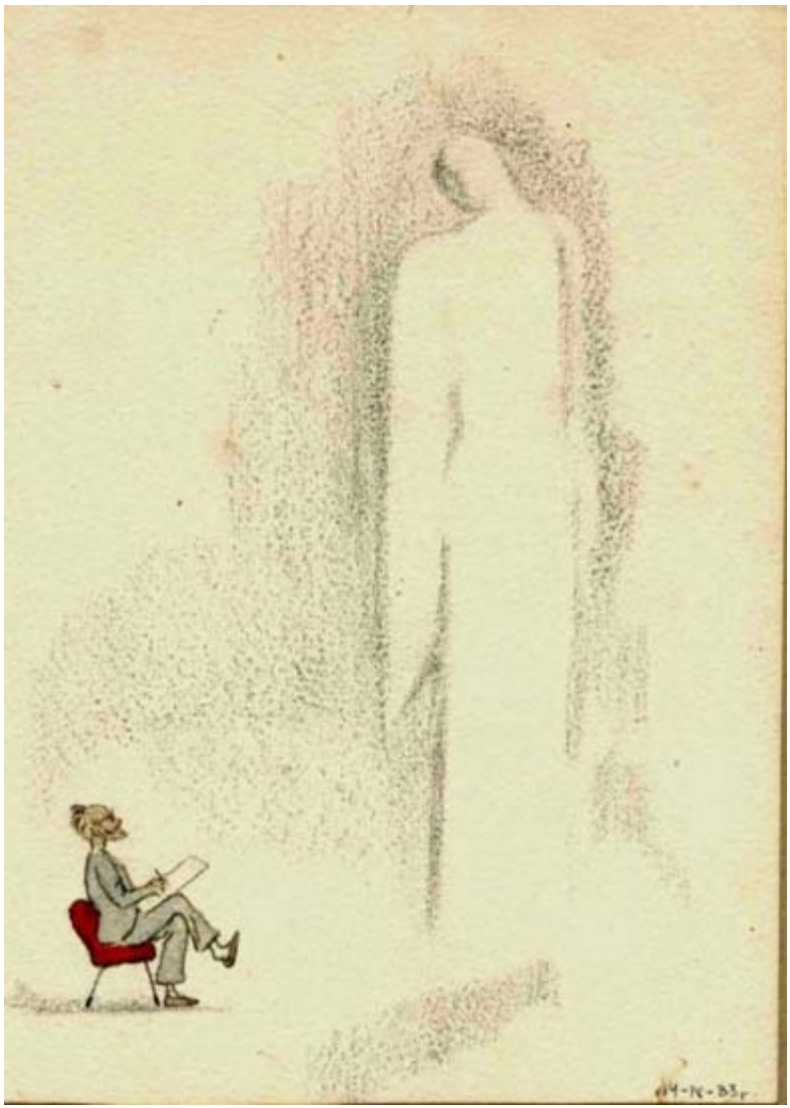
Мужчина поднял тетрадку, машинально разгладил ее, сунул

в карман и зашагал по коридору. «Дядя, — подумал он, — почему ты так плохо рисуешь?»

Он дошел до коричневой входной двери и повернулся. До операционной было сорок восемь шагов.

ЭТЮДЫ

Ангел



Дом творчества в Юрмале. Теплая солнечная весна. Из окна моей комнаты сквозь черное кружево еще зимних безлистных берез видны улица, ведущая к вокзалу, высокие сосны, обрамляющие ее с обеих сторон, зелень газона, неожиданно появившаяся из-под стаявшего снега, и бронзовая девушка, которая всегда бежит куда-то в красно-керамической раме небольшого прямоугольного бассейна.

Я работаю над скульптурной композицией «Рай и ад».

С «адом» у меня все в порядке, дело идет к завершению этой

трехфигурной группы. А вот с «раем» я не в ладах. Я уже перепортил много бумаги, вылепил и сломал несколько вариантов ангела, но ангел не получался, он порхал где-то рядом, шелестел крыльями за спиной, но не давался в руки. Время шло. Я переключился на другую работу, но не переставал думать об ангеле и, даже засыпая, продолжал обдумывать варианты.

Я проснулся ранним утром, когда весенние лучи пробились сквозь полузашторенное окно и осветили комнату, стул с наброшенной одеждой, край кровати, угол сбившейся подушки… и ангела в складках пододеяльника, стоявшего прямо перед глазами во весь свой крохотный, не больше моего мизинца, рост.

Я закрыл глаза и попытался осмыслить, сон это или не сон, а если сон, то его надо было непременно запомнить, так как это был тот самый ангел, мой ангел, которого я безуспешно искал и ждал все это время. С явным сомнением и тайной надеждой я рискнул еще раз открыть глаза и убедился — он не исчез. Он стоял по-прежнему на том же месте, весь белый, красивый, в рублевских пропорциях, с гордо поднятой кудрявой головой, в длинном хитоне с античными складками и с упругим крылом белой чайки за прямой спиной…

Не веря глазам своим, я моргнул несколько раз, чтобы убедиться в том, что это не мираж, но он оставался абсолютной реальностью, хотя и чудом в одно и то же время.

И тогда медленно и очень осторожно, чтобы не сбить складки и не спугнуть небесное видение, я выпростал руку из-под одеяла, нащупал у изголовья грифель и бумагу и тихонечко, с благоговением и благодарностью зарисовал фигуру.

С последним штрихом ангел исчез.

Дзинтари, апрель 1983 г.

Встреча

— Ваше место второе. Можете располагаться, — сказал мне чисто выбритый и подтянутый проводник поезда Хельсинки — Петербург. Я поставил рюкзак на полку, удобно уселся и стал ждать соседей по купе.

Долго ждать не пришлось. В купе впорхнула молодая ярко одетая девица, радостно поприветствовала меня, спросила, откуда я еду, есть ли у меня семья, как долго я находился в Финляндии, какая у меня специальность, ах, как интересно, мой двоюродный брат тоже рисует, дочка тоже талантливая — вышивает по канве… И тут же защебетала о себе и своей жизни. Жизнь у нее, как оказалось, сложилась счастливо, ей удалось осуществить свою мечту — выйти замуж за иностранца, ее муж — финн, страховой агент, получает кучу марок, у них двое детей, он не пьет и раньше не пил, не то, что другие финны, у них свой дом, а машина японская, «Субару», а в Питер она ездит к родне, вот два чемодана шмоток братьям и их семьям…

Дверь купе открылась, и к нам вошли соседи, пожилая пара — рослый мужчина с угрюмым выражением лица и его грузная жена с дешевой шляпкой на седой голове. Молча расположили свои вещи и, отвернувшись от нас, дружно уставились в оконное стекло. Оба были одеты скромно, непарадно.

Моя бойкая молодая соседка, примолкнувшая было во время прихода стариков, снова раскрыла рот и защебетала с новой силой. Тема мужа и детей плавно перетекла в характеристики финской родни, и я уже стал угорать от этой трескотни, как она вдруг спросила, что у меня с рукой.

— Память о фронте.

Она остановилась, как бы с наскоку.

— А сколько же вам лет?

Я ответил.

— Значит, вам примерно столько же, сколько ему? — качнула головой в сторону соседа.

— А вы спросите его.

Девица выбросила несколько финских слов моему соседу. Тот медленно и как бы неохотно повернул к ней голову, и я успел рассмотреть его обтянутые кожей острые скулы, суровый взгляд из глубоко проваленных глазниц и седой клок волос, брошенный через морщинистый лоб. Он произнес одно слово и опять отвернулся к окну.

Она снова спросила его о чем-то, и он утвердительно кивнул головой, не разжимая губ.

— О чем вы его спросили?

— Воевал ли он.

Разговор неожиданно принял интересный поворот.

— Спросите, если не трудно, где?

Она перевела мой вопрос. Он посмотрел на меня, помолчал немного, потом хрипло произнес одно слово: «петровски».

— Он сказал: «Петровски». Это значит Петрозаводск.

Что-то ударило мне в голову и в купе сразу стало жарко. Следующий вопрос вырвался уже сам, вне моей воли: не скажет ли он — когда?

Моя переводчица почувствовала мое волнение. Что-то большое и важное творилось у нее на глазах, и она была в центре происходящего. Она перевела вопрос, и ответ прозвучал моментально.

— Он сказал: в июле 1944 года.

Вот оно! Вот оно! Я перевел дух.

— Скажи ему: я тоже воевал под Петрозаводском!

Он напрягся, повернулся ко мне всем корпусом. Вопрос прозвучал, как выстрел — перевод не потребовался. Я ответил сразу:

— В июле 1944-го. Мина упала рядом…

Наступила тишина. Стенки тесного купе поплыли в тумане и раздвинулись до невероятных просторов карельских болот. Потянуло холодком из соседнего озера, остро запахло хвоей срубленных осколками сосновых веток. Грохот автоматов смешался с воем летящих мин, где-то тонко и надрывно закричал раненый…

Мой сосед неотрывно смотрел на меня, закаменев. Потом неожиданно воздел кверху руки и обхватил ими свою голову, потом качнулся в мою сторону, навалившись мне на колени, и что-то быстро залопотал, всхлипывая. Сквозь темные пальцы его заскорузлых и кривых крестьянских рук сочились слезы…

Взволнованная переводчица чуть не выкрикивала его отдельные слова.

— Проклятая война!.. Брат погиб… дом сгорел…

— Переводи! — крикнул я девушке. — Проклятая война… Мы с ним ни в чем не виноваты… Войну начинают политики, а гибнут простые люди…

Я сильно хлопнул его по плечу, схватил его руку и крепко пожал. Он ответил мне мощным пожатием, потом полез в чемодан, достал бутылку столичной. Края стаканов тоненько зазвенели, приняв касание дрожащей бутылки.

Мы выпили за нашу встречу. Вторую в жизни.

Притча

Когда Бог создавал души людей, он составлял коктейли из человеческих Качеств, творчески меняя пропорции.

Дошла очередь до души Лены Б. Взял Бог кувшин с гуманизмом и начал лить.

В этот момент по небу пролетала красивая птичка, и Творец отвлекся. Потом посмотрел вниз и ахнул: остальные Качества лить некуда!

Огорчился Бог: халтура получилась… Надо же, какого урода создал!

Капнул сверху немного ума — через край полилось!

— Ну что же, — задумчиво сказал Бог. — Гуманизма чуть-чуть на дне осталось, а практицизма бочка цельная. Остальным

так и нальем…

И Бог продолжил работу.

Суббота

Была суббота. Я забрала Ляльку из детского сада и решила выкупать ее перед сном.

Ванная у нас — чудо! Стенки покрыты белым кафелем, краны сверкают. Все новое, чистое, всего полгода, как въехали.

Лялька барахталась в теплой воде, топила надувную резиновую рыбу, брызгалась и мешала. Пришлось шлепнуть ее по мокрому и отнять рыбу. Лялька заныла.

— Как тебе не стыдно? — сказала я. — Игорешка и тот так не брызгает. И вообще, в шесть лет я уже мылась сама!

Я приоткрыла дверь и крикнула Гале, соседке, чтобы принесла махровое полотенце из моей комнаты.

— Несу! — ответила Галя. — Пусти, Ига, пусти маму. Побегай сам, мама сейчас придет.

Я разбирала Лялькины вещи, а она стояла в ванне, распаренная, розовая, с капельками, блестевшими по всему телу, прижимала рыбу к животу и выговаривала ей шепотом:

— Рыба, тебе не стыдно? В шесть лет я уже сама мылась и чистила зубы, а ты ничего не умеешь…

Галя вошла в ванную, прикрыла за собой дверь и дала мне полотенце.

— Тетя Галя, а где Игорь? — спросила Лялька.

— За дверью стоит.

— Мама, — услышали мы из-за двери, — ма-ма! — и что-то заскреблось с той стороны.

— Иду-иду, — сказала Галя, — отойди от двери, а то я тебя стукну!

Она взялась за дверную ручку и осторожно толкнула дверь. Потом еще раз. Потом, как-то странно посмотрев на меня, нажала дверь плечом.

— Что такое? Ничего не понимаю!..

Я бросила Лялькино белье и сильно толкнула дверь. Дверь не открывалась.

— Все ясно, — сказала я. — Игорешка запер нас на наружную задвижку.

— Ига! — закричала Галя, держась за ручку двери. — Ига, открой нас! Слышишь, открой нас немедленно! Если ты не откроешь, я тебя нашлепаю!..

За дверью притихло, мы услышали всхлипывания, перешедшие скоро в рев, а затем легкое топанье удалявшихся пинеток.

— Игорь, немедленно вернись! — закричала Галя и застучала

кулаками по двери. — Вот приедет папа, я все расскажу, негодный мальчишка!

— Ты соображаешь, что ты делаешь? — вмешалась я. — Разве можно пугать ребенка в таком положении! Игорешка! Игоречек! Иди сюда, мой хороший мальчик! Иди сюда, лапушка! Тетя Эмма тебе что-то расскажет!

Рев стал затухать. Галя с надеждой посмотрела на меня.

— Подвинься, — сказала я, — сядь на ванну. Мне же нужно говорить в скважину. Ига хороший, Ига славный, а где у Иги лошадка? Вот у Иги лошадка, но-но, лошадка!..

Я приложила к скважине ухо. Пинетки подтопали ближе. Рев прекратился. Я присела на корточки.

— Ига, слушай, что тебе тетя Эмма скажет. Возьми задвижечку, поиграй ею, поиграй. Какая хорошая задвижечка…

— Ма-ма, — раздалось из-за двери, — Ига маме хочет…

— Ига, — сказала Галя, — поиграй задвижечкой, сделай вот так, вот так! — и она побренчала дверным крючком.

Раздался легкий стук в дверь, потом царапанье. Затем пинетки решительно удалились.

— Однако! — Галя нервно рассмеялась и протерла очки. — Положеньице! Трое взрослых заперты в ванной, а ребенок один находится в пустой квартире!

— Мама, а где я буду спать? — спросила Лялька с интересом.

— Молчи уж! — накинулась я. — Почему ты, кстати, не вытираешься и не одеваешься?

— Я сейчас буду. Но ведь вытертая я все равно запертая…

— Одевайся и не рассуждай! Что будем делать, Галя?

Галя оглядывала стены.

— Надо сильно постучать в стенку, — неуверенно предложила она, — может быть, соседи услышат.

Мы постучали. Сначала руками, потом ковшиком. Прислушались. Капала вода из душа, и Лялька шуршала полотенцем.

— Время не то, восемь часов, — протянула Галя с тоской. — Сидят все, черти, воткнулись в телевизоры, хоть из пушки стреляй!

— То время начнется часам к двенадцати, когда народ захочет спать. Тогда и постучим?

— Ты что? — окрысилась Галя. — Можно подумать, что я нас закрыла! У тебя хоть ребенок с тобой, а мой один-одинешенек во всей квартире гуляет из комнаты в комнату!

— Твой ребенок может лечь спать на пяти кроватях на выбор, а мой, видимо, будет ночевать в ванне…

— Мамочка, ты не волнуйся, — сказала Лялька, — мы

поместимся вдвоем. А тетю Галю можно устроить на табуретке.

— Игорь! — завопила опять Галя. — Иди сюда, противный мальчишка! — и, не дождавшись ответа, тупо посмотрела на меня.

— Галя! Не горюй, — сказала я бодрым голосом. — Вспомни инженера Щукина. Ему было еще хуже. А потом он спасся благодаря судьбе.

— Я тебе благодарна за классические примеры, но почему он не отзывается?

Она легла плашмя на пол и стала заглядывать в щель под дверью.

— Мама! — сказала Лялька. — Я пить хочу!

— Пей! Чего-чего, а воды сколько хочешь. Вот если ты есть запросишь…

Я оглядела стены. Справа наверху чернела дырочками вентиляционная решетка. Слева, под потолком, было окно в стене, смежной с туалетом.

— Встань с полу, — сказала я, — есть идея. Нужно добраться до окна, высадить стекло и пролезть в туалет, а оттуда выйти и открыть эту проклятую дверь.

Галя вскочила с пола.

— Ну уж бить стекло я не буду! Потом иди, ищи халтурщика, чтобы вставлял!

Мы сели на край ванны и помолчали.

— Знаешь, что, — предложила я, — мы раньше стучали по стенкам. Попробуем бить по трубе чем-нибудь железным. Может быть, соседи услышат.

Мы взяли ковшик и начали стучать по стояку парового отопления. Лялька помогала нам зубной щеткой.

— Мы не так стучим! — заявила Галя.

— Что значит, не так? А как нужно стучать?

— По-другому. Соседи думают, что где-то идет ремонт.

— Так что же делать?

— Ты знаешь азбуку Морзе?

— Откуда мне ее знать? Я же бухгалтер.

Я посмотрела на часы. Прошел уже час нашей жизни в ванной. Лялька с наслаждением колотила ковшиком по кафельным стенкам.

— Еще жалуются, что новые дома звукопроницаемы! — со злостью сказала Галя. — Идиоты!

— Лялька, прекрати! — сказала я. — Все равно ты не так стучишь!

— Я придумала! — закричала Галя. Она схватила ковшик и стала бить по трубе в каком-то ритме. Мы прислушались.

— Пусть всегда будет солнце, — подхватила Лялька.

Начинались какие-то ненормальности. Галя странно улыбалась.

— Ты что? — спросила я и отсела подальше.

— Неужели не понимаешь? — удивилась Галя. — Соседи слышат стук. Стук не похож на ремонтный. Кто-то выстукивает по трубе песню. Нарочно. Им назло. Издевается. Значит, *всё* бросят и прибегут ругаться.

Все-таки не зря она кончала психологический факультет.

Мы отбарабанили «Солнечный круг», «Старого барабанщика», потом сыграли «Болеро» Равеля и «Чижика-пыжика». Прислушались. Все было напрасно. Соседи не поддавались.

— Эмма! — вдруг с тревогой спросила Галя. — А он не может кнопок наесться? У тебя на столе были рассыпаны кнопки!

— Я убрала их. Ему все равно на стол не забраться. Не волнуйся. Он, наверное, спит где-нибудь, ведь он всегда засыпает в девять, а сейчас одиннадцатый час.

— Бедный малыш, — всхлипнула Галя, — я знаю, где он спит. Он спит в луже. И, наверное, простудится.

Мы задумались.

— Знаешь, что? Давай высадим дверь!

Мы встали спинами к двери и разом стукнулись в нее. На нас посыпалась штукатурка, но дверь не поддалась.

— Раз-два, взяли! — скомандовала Галя, и мы ударили снова. Опять полетело что-то белое, но дверь не шелохнулась.

— Безнадюга! — упавшим голосом сказала Галя.

— Мама, а как же я пойду в детский сад? — спросила Лялька.

— Вот что! — встала я решительно. — Халтурщика я беру на себя. Полезай в окно. Я тебя подсажу. Другого выхода нет. Смотри, уже скоро два часа, как мы тут сидим.

Галя тоскливо посмотрела наверх.

— А как же спускаться?

— Обвяжешь раму полотенцем и спустишься.

— Может быть, ты полезешь? — робко предложила Галя.

— Галочка, — сказала я мягко, — не дури. Если даже ты меня выдержишь, я же не пролезу в один пролет. Надо выбивать всю раму…

Галя сбросила с себя узкую юбку, взяла в зубы полотенце, в руки ковш и полезла на табурет. Оттуда, держась одной рукой за крюк от зеркала, она взгромоздилась мне на плечи.

— Погоди, не бей, — сказала я, — я прикрою голову твоей юбкой, а то на меня посыплются осколки. Лялька! Встань в тот угол и отвернись лицом к стене. Тетя Галя будет бить стекла, и на тебя посыплются осколки.

— Мамочка, я буду стоять в углу тихо-тихо, но я не хочу отворачиваться. Мне очень интересно посмотреть, как тетя Галя будет бить стекла. Я никогда не видела.

— Немедленно повернись! — закричала я. — Я тебя сейчас так нашлепаю, что ты своих не узнаешь!

Раздался треск стекла и звон осколков, упавших за стенкой. Подтянувшись, Галя перекинула ноги в дыру, завязала полотенце и спрыгнула туда.

— Наконец-то! — вздохнула я и сняла юбку с головы.

— Эмма! — раздалось из-за стенки.

У меня екнуло сердце.

— В чем дело?

— Эмма, — тихо повторила Галя, — уборная тоже заперта. Оттуда. Ведь дверь отходит, и ты сама ее сегодня закрыла на задвижку…

Мы помолчали. Капала вода. Лялька начала хныкать.

— Давай назад, — предложила я, — все-таки втроем веселее.

— Интересно, кто же меня здесь подсадит, — задумчиво сказала Галя.

Я взяла Ляльку на руки. И она начала засыпать у меня на плече.

— Пожалуй, инженеру Щукину было лучше, — раздалось из-за стенки. — Он, во всяком случае, не был отрезан от мира. Ему могли помочь. Одеть, накормить…

— Благодарю за классические примеры, — отозвалась я.

— Эмма! — позвала Галя. — Попробуй кричать в вентиляционную трубу. Я где-то читала, что по ней хорошо разносятся звуковые волны.

Я встала на табурет и начала кричать в черные дырочки:

— Соседи! Помогите! Откройте! Спасите!

— Не кричи «спасите!». «Спасите» кричат, когда кому-то плохо. Кричи «горим!» Горим — это всем плохо, и им тоже будет плохо!

— Соседи! — с удвоенной силой закричала я. — Горим! Спасите! Горим!

— Возьми ведро, — раздалось из окошка.

— Еще что? — огрызнулась я. — Ведь не горим же мы на самом деле!

— Дура! Кричи в ведро. Гульче будет.

Я взяла ведро, поднесла его к вентиляционной трубе, засунула туда голову и заорала снова. Получалось гульче. Звуковые волны рвали стены.

— Мама! — захныкала Лялька. — Мне страшно!

— Сядь на табуретку, прикройся халатиком и спи. Спи,

маленькая, спи, моя ласковая… Соседи, горим! Двадцать шестая квартира горит! Спасите! Спи, Ляленька, спи. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю… Караул, горим!

— Бей в ведро! — скомандовала Галя.

Я стала бить в ведро и орать еще сильнее. Галя в соседнем помещении била туфлей по унитазу в ритме танца с саблями и тоже что-то орала. Лялька ревела в голос. Звуковые волны летели в вентиляционную трубу. С трудом расслышали мы из-за входной двери слабый звонок.

Мы разом стихли.

— Откройте! — послышался мужской голос с площадки. Никогда не слышала такого приятного голоса.

— Это вы откройте! — заорали мы хором.

За дверью стихло.

— Он уйдет! Не уходите! — взвизгнула я и сорвала голос. — Скажи им, пускай попросят ключ от восемнадцатой квартиры, он открывает нашу дверь, — прошипела я в разбитое окошко, стоя на ванной.

— Возьмите ключ от восемнадцатой! — звонко закричала Галя.

— Где у вас горит? — спросили из-за двери.

— У нас не горит, — выкрикнула Галя, — то есть, горит, но не сильно… Одним словом — ломайте дверь!

Раздались несколько тяжелых ударов и треск взламываемой двери.

— Эмма! Быстро! Юбку! — крикнула Галя.

Я перекинула ей юбку.

В коридоре послышался шум от множества ног. Двери распахнулись, и мы вышли. В прихожей и в коридоре толпились люди. Впереди стояли незнакомые парни с красными повязками на рукавах. Из-за их спин выглядывали соседи. Дворничиха тетя Маша в белом фартуке таращила на нас глаза. В открытую дверь входили все новые люди.

— Где горит? — спросил старший дружинник с черной бородкой.

— Нас заперли, — просипела я, держа сонную Ляльку за руку.

— Сережа, беги, позвони ноль один. Скажи — ошибка. Быстро! — сказал старший. — Так кто нахулиганил?

— Вот кто, — сказала Галя, вынося из комнаты Игорешку. Он спал у нее на руках, завернутый в синее байковое одеяло.

— Вот этот? — протянул бородатый и оглянулся на своих. — А ходить он умеет?

— Конечно, умеет, — обиделась Лялька. — И ходить, и бегать, и задвижку закрывать.

— Пошли, ребята, — сказал бородатый. — Все в порядке, граждане. Спокойной ночи!

Под окном раздалась сирена пожарной машины…

Ленинград, июнь 1963 г.

Колька

Нас трое на лугу: хозяйская корова Белянка, Колька — соседский дачник — и я.

Кольке четыре года. У него круглая светлая головенка, серые лукавые глаза и лупящийся от загара нос. Он весь украшен воинскими шрамами: на руке ссадина, коленка темнеет свежим кровоподтеком, когда он улыбается, то видно, что не хватает двух передних зубов.

Встает он рано. Красная Колькина тюбетейка мелькает то за домом, то в саду. У него много дел. Прямо со своего трехколесного велосипеда он залезает по стремянке на крышу сарая и оттуда дразнит Рекса. Потом гоняет кур. Позавчера он сунул хозяйского кота в бочку, вкопанную под умывальником, и на даче разразился скандал, когда мокрый и злой, распространяя зловоние, кот влетел в хозяйскую половину и прыгнул на пикейное покрывало. Кольке здорово влетело за это от матери, и его басовитый рев разносился по всей даче.

Каждое утро Колькин нос прилипает к стеклу нашей веранды и произносится неизменная фраза:

— Дядя Лева, выходите гулять!

Я выхожу со складным стулом и пластилином в руках и направляюсь к калитке. Колька немедленно атакует меня:

— Дядя Лева, вы вышли гулять?

— Да.

— А это что?

— Это складной стул.

— Он раскладается?

— Да.

— А вы куда?

— Я пойду лепить Белянку. Пойдем со мной!

— Пойдем. А вы мне на стуле дадите посидеть? А можно я его понесу?

Я даю ему стул, и мы идем на широкую зеленую лужайку за дачами, где, привязанная к колышку, пасется Белянка — большая холмогорка. Светло-коричневые пятна раскиданы прихотливым узором на ее крутых боках, породистая морда абсолютно белая, и только левое ухо, как бы случайно, залито коричневым. Белянка лениво пощипывает траву и медленно описывает большие круги по лужайке вокруг столбика.

Я усаживаюсь немного поодаль и начинаю лепить. Колька пристально смотрит на корову. Видимо, моя модель внушает ему опасения.

— Дядя Лева! А мама не позволяет подходить к Белянке…

— А мы и не будем подходить. Мы будем тут сидеть и лепить. За тот камень не ходи.

Пауза. Колька думает.

— А если она на нас полезет?

— Ну так нас же двое! Я с тобой не боюсь!

Он медленно поворачивает ко мне голову — во взоре и в оттопыренной нижней губе изумление. Потом переводит взгляд на Белянку. Силы врага устрашающи.

— Я ей как дам по морде! — говорит он не очень уверенно.

— Как же ты дашь ей по морде?

— А кирпичом! — кровожадно говорит Колька. — По морде!.. У них морда, у коров и у лошадей.

На лужайке тепло, светло и зелено. Трава пахнет сладко и как-то особо, по-летнему. Белянка хорошо позирует, она медлительна и ленива, красивые карие глаза ее то косятся на нас, то закрываются белыми ресницами от мух. Она жует и дремлет.

Колька между тем вооружается. Он натаскал и сложил около моих ног целый арсенал: кучу щепок, обломки кирпича, камешки. Притащив откуда-то ржавую проволоку, Колька машет ею над головой, рассекая воздух, и вызывающе кричит в сторону Белянки. Помахивая хвостом, она поворачивается задом.

Между тем проволочный каркасик у меня в руках постепенно обрастает пластилином. Появляется тело Белянки, ноги, морда. Маленькая коровка быстро набирает объем. Солнце ярко освещает

мою натуру, бабочки гоняются друг за другом, теплый ветерок приятно дует в спину.

Колька — весь внимание. Щербатый рот его открыт. В грязных кулаках зажато по камню.

— Дядя Лева, это вы Белянку хочете вылепить? — вежливо спрашивает он.

— Белянку.

— И рога сделаете?

— И рога.

— И хвост?

— И хвост.

— А где же у нее подойник?

— Какой подойник?

Колька озабоченно смотрит на пластилиновую корову, потом на живую, потом на меня.

— А вот тут! — Колька тыкает пальцем в брюхо пластилиновой коровы.

— Колька, это называется вымя! Я его обязательно вылеплю.

В это время на луг неторопливо выходит черная коза. Направление Колькиных мыслей моментально меняется.

— Дядя Лева, а кто сильнее — корова или коза?

— Корова.

— А корова может козу съесть?

— Нет, не может.

— Почему? Шкура плохая?

Коза на самом деле какая-то ободранная и неаппетитная.

Колька бросается за бабочкой и, увлекшись, забегает за заветный камень в Белянкин круг. Белянка, пощипывая траву, меняет направление и идет к Кольке. Он шарахается в сторону, мчится к своему арсеналу, хватает железный прут и замахивается. Белянка поворачивается и уходит к дальней части луга. Там она останавливается и неожиданно, подогнув ноги, ложится.

— Ага! Испугалась! — радостно кричит Колька. — А то я бы ей как дал!

Белянкин отдых не входит в мои планы. Я встаю, подхожу к ней, берусь за веревку, намотанную на рога, и поднимаю корову. Оборачиваюсь. Колька застыл на месте.

— Дядя Лева! Она же вас забодает!

— Не забодает, Коля. Она хорошая.

Пауза.

— А вы ее за морду можете потрогать?

Я трогаю мягкую Белянкину морду, отгоняю мух, глажу уши.

— И за рога можете?

Трогаю за рога. Колька потрясен моим героизмом. Рожица его наморщилась, он стоит в отдалении и усиленно думает. Я жду очередного задания.

— Дядя Лева, а за хвост можете?

Трогаю.

— А за имю?

— Что?

— За имю можете потрогать?

Я сажусь от смеха на траву, а страшная Белянка шумно обнюхивает мою голову.

— Вымя, Колька. Вы-мя! И кто только тебе передние зубы вышиб? — спрашиваю я, усаживаясь на стул.

— А это я об дверь, — говорит Колька, жуя травинку. — Мама очень ругалась. Дядя Лева, а кто сильнее: корова или некорова?

За забором соседней дачи вырастает вихрастая голова. Это Сашка — Колькин приятель, с которым он каждый день дерется.

— Колька! — кричит он. — Чего там дядька делае-е-ет?

Колька немедленно соображает, какую он может извлечь из меня выгоду.

— А в игру примете, тогда скажу-у-у…

— Приме-е-ем!

— Корову лепи-и-и-ит!

За забором появляются еще три головы, потом свешиваются ноги, и скоро я окружен стайкой загорелых мальчишек. Колька чувствует себя гидом в музее, объясняет, показывает. Мальчишки смотрят недоверчиво и неодобрительно.

— Глаз-то и нету! — замечает один. — Будете вылепливать?

— Буду.

— А почему не гладкая?

— Так надо! — важно объясняет Колька.

— А потом чего с ней делать будете? — спрашивает старший, худенький мальчишка с раскосыми и очень синими глазами.

— А ничего. На полку поставлю.

— Пошли, ребята, — говорит худенький. — Мы там будку сделали.

— Дядя Лева, я пойду к Сашке, — говорит Колька, — а стул вы сами понесете домой. Ладно?

Мальчишки мчатся к забору. Вдруг Колька останавливается и решительно возвращается ко мне.

— Ты чего? — спрашиваю я.

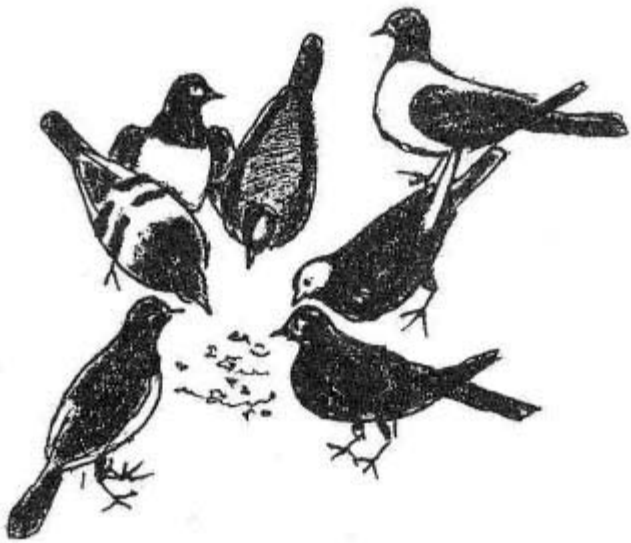
Колька молча хватает железный прут, сует в мою руку и, смотря мне в глаза, говорит негромко и очень серьезно:

— Если полезет, вы ее по морде! Ладно?

Красная тюбетейка исчезает за забором.

Старожиловка, июль 1957 г.

Голуби



На площади стая синих голубей. Из дверей пивной выходит молодая женщина. На ней вишневое распахнутое пальто, ярко-зеленая косынка, ноги в дорогих капронах и грубых шерстяных носках, вылезающих из грязных туфель. Лицо женщины размалевано: черные накрашенные брови, ресницы, с которых свисает краска, большой ярко-красный, грубо обрисованный рот.

Женщина, пошатываясь, бредет на середину площади, вынимает из кармана половину городской булки, откусывает кусок и, разжевав, выплевывает голубям. Мокрая жвачка падает частично на пальто, частично на асфальт. Голуби, толкаясь, подбирают ее.

Пожилой еврей останавливается и внимательно наблюдает. Потом, обратясь ко мне, склонив голову набок и смешно выпячивая нижнюю, и так торчащую губу, говорит:

«Если бы я был голубь, я бы таки это не ел…»

Стаканчиков

7 мая 1976 года после собрания ветеранов в Союзе художников и получения медали я вернулся домой, и сияющая Танюха сообщила мне, что она «кажется, удачно сменяла квартиру».

— Сейчас придет гражданин смотреть нашу квартиру. Он предлагает трехкомнатную рядом с метро «Петроградская». Вот я записала: 54 метра, удобства все, окна в сад, третий этаж, телефон, два балкона.

— Что он, сумасшедший?

— Не знаю. Он сказал, что едет.

Вариант был настолько ослепителен, что я сразу заподозрил неладное: а) квартира окажется не отдельной, бывало и такое; б) окна упираются в стену; в) дом идет на капремонт.

Быстро подмел пол, завесил дырки на обоях старыми этюдами и стал ждать, заранее зная, что ничего из этого варианта не выйдет. Сменщик откажется с порога, обнаружив вход через кухню.

Раздался звонок, и в дверях появился невысокий, плюгавый пожилой гражданин в сером плаще. Он вежливо поздоровался, переступил порог, огляделся и произнес:

— Итак, мы имеем кухню…

— Да, вход через кухню. Но мы привыкли. И недостатком это не считаем…

Против ожидания, он не сказал «до свиданья» и не повернулся к выходу, а напротив, пожелал смотреть дальше.

Ободренный началом (внутри затеплилась маленькая надежда), я повел его по квартире.

— Кладовка, туалет, коридор, ванна кафельная…

— А это что у вас? Дровяная колонка?

— Да… Не успели убрать… Что-то вроде антиквариата… А вот комнаты 11 метров отдельная и 12 плюс 10, извините за беспорядок, смежные.

— Ну что же… Простите, как вас зовут? Лев Самсонович? Меня зовут Сергей Васильевич. Ну что же — квартира ваша мне подходит.

У меня где-то внутри екнуло.

— Давайте пройдем на кухню, переговорим.

Ага. Вот оно. О чем же разговор? Сумма с четырьмя нулями? Что-то все очень быстро…

— Разрешите закурить?

— Курите.

— Хотите сигарету?

— Нет, спасибо.

— Так вот. Квартира мне ваша подходит. Думаю, что моя вам тоже подойдет.

— Я тоже так думаю. А почему вы меняетесь?

— Нас с женой двое. Кроме того, дело в том, что в вашей квартире я жить не собираюсь. Меня переводят в Москву, там дают квартиру, а эту я обязан сдать городу, точнее, Управлению торговли, где я работаю.

— Какой же вам смысл менять перед отъездом? Да еще на меньшую? Из соображений благотворительности?

— Уважаемый Лев Самсонович! Какая благотворительность? Я же торгаш! Двадцать восемь лет работаю в спецслужбе Управления торговли Ленгорисполкома. Вы получаете лишних двадцать метров. За них надо платить.

— Сколько?

— Разрешите карандашик. Вот такая сумма с вас. Ну, как? По-божески?

На бумажке — мне не мерещится? — восемьсот рублей… Лихорадочно соображаю. Что-то тут не так. Лишний метр стоит от пятидесяти до ста…

— Да, по-божески… Даже слишком…

— А вы с юмором! Не беспокойтесь, остальную сумму я получу с того товарища из ДЛТ, который сюда въедет, ему от работы десять минут ходу, от Управления на Адмиратейском тоже десять минут.

— Таким образом, — мои мозговые извилины туго раскручиваются, — вы получаете деньги… товаровед — мою квартиру, а я — вашу?

— Точно! Трех зайцев одним ударом! Каково?

— Ну, Сергей Васильевич! Вы голова!

— Ха! А вы, я вижу, ветеран? Где воевали? Под Петрозаводском? А я вот на Первом Белорусском. Да… Вы с собрания ветеранов? А у меня как раз завтра собрание. Медаль вручать будут. А ведь редеют наши ряды, Лев Самсонович?

— Редеют, Сергей Васильевич, редеют…

— Я же подполковник запаса. А сейчас, вроде бы, на интендантской службе — кормлю богов.

— Что это значит?

— Езжу с машиной и развожу продукты на дом обкому, горкому. Всего у меня подшефных 256 человек. Ну там, кетовая икра, балык, семга, парная вырезка… Когда вы последний раз кетовую икру ели?

— Лет пять тому назад.

— Ха! Я так и знал. И, между прочим, все эти продукты по твердым ценам: банка икры 7 рублей 20 копеек, а в магазине она же 167,52. Растворимый кофе 87 копеек баночка, а в магазине — 2 рубля.

— Вернемся к квартире. Скажите, Сергей Васильевич, мы можем сейчас с вами поехать посмотреть ее?

— К сожалению, у меня сегодня вечер занят. Я ведь к вам зашел, потому что у меня в соседнем доме дело. А вот завтра — пожалуйста, приезжайте с утра с женой, потому что во вторую половину дня у меня собрание ветеранов. А сейчас мне надо приятеля выручать.

— Что с ним? Заболел?

— Да нет, не заболел. Кстати, скажите, что это — от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича? Не знаете? Микоян! Ха-ха-ха! А у приятеля дело деликатное. Он, видите ли, на такой же работе, как и я. Ну, и перехватил малость. Собирал на «Жигули» в экспортном варианте. А тут скоро ревизия, так он просит помочь срочно распродать продукты. Так торопится, что даже по твердым ценам отдает. Я сейчас от него всем знакомым звонить буду, и быстро все ликвидируем. Вам, случайно, не надо баночку икры?

— Нет, спасибо.

— А то пожалуйста. Или растворимый кофе, например?

— Нет, не надо. Сергей Васильевич! Нарисуйте мне план вашей квартиры.

— Я, конечно, не архитектор, но вот так примерно: прихожая, неоплачиваемый холл 16 метров, у меня здесь телевизор стоит. Как поругаюсь с женой, так сюда и телевизор смотрю.

Я встал и пожал ему руку. Отдельный холл для телевизора и возможность скрыться от жены — это требовало рукопожатия.

— Дальше комнаты — 22, 18 и 14 метров. Кухня 12 метров. Два балкона.

— Куда окна?

— На северо-восток. Практически целый день солнце. Даже надоело. Да вы завтра все увидите. Придете с женой и все увидите. Давайте, я вам адрес запишу. Ординарная 19, квартира 36. Сергей Васильевич Стаканчиков. Правда, интересная у меня фамилия? Ха-ха-ха! Ну, а теперь извините, надо идти. Так хотите ради доброго знакомства баночку кофе? 87 копеек всего…

— Ну уж давайте, раз так. Ради знакомства.

— А может быть, пять возьмете? Для себя, знакомым подарите. Это же сейчас не достать. А я вам сейчас принесу, благо это рядом.

— Я не обкомовская жена, я могу и сам с вами, а то неудобно, что вы будете бегать.

— Лев Самсонович! Вы знаете, что неудобно?

— Знаю. Штаны через голову надевать.

— Ах, что вы! Это же старо и плоско! А вот — зонтик в кармане раскрыть! Каково, а? Ха-ха-ха! Вы не стесняйтесь. Это же моя профессия — разносить продукты. А для вас я с удовольствием. Вы только дайте мне газетку банки завернуть, чтобы по дороге не приставали…

Дал газетку. Сам во взвешенном состоянии. Как будто выпил. Мозги крутятся. В холле библиотека, в большой комнате — шкаф. Тане — изолированную комнату. Маше, пока маленькая, можно проходную… Утром встали — в окна солнце. После нашего склепа…

— Да, вам же денежку надо…

Он, с газетой у дверей, рассеянно:

— Ах, да…

Иду к ящику, достаю две трешки, в сомнамбулическом состоянии возвращаюсь на кухню, даю ему одну и говорю:

— Знаете, Сергей Васильевич, мне и трех банок хватит.

— Да что вы! Я возьму вам пять, потом вы мне разницу вернете. А я через десять минут вернусь!

Хлопнула дверь. Некоторое время я стоял в прострации, переосмысляя варианты расстановки мебели в новой квартире, а также думая о цветах, которые я разведу на двух балконах… И вдруг меня осенило.

Рванул я на улицу.

Моего друга Стаканчикова и след простыл.

Говорят, нет ничего горше чувства только что совершенной глупости! Изругав себя по-всякому, я в конце концов утешился тем, что за целый вечер, проведенный с отличным актером, мастером своего дела, трешки никак не жалко…

Ленинград, 1976 г.

Портрет вождя

— Хочешь повидать Павлика? — спросил я Васю.

— Павлика?

— Ну да. Павлика.

— Хочу, конечно.

— Так давай его вызовем!

— Куда?

— В Ленинград.

— Ты что — сдурел? Он же в армии!

— Ну и что? У меня идея.

— Ну ты даешь! Брось трепаться! Некогда тебя слушать.

— А я не треплюсь. Давай попробуем…

Так родилось письмо.

«Начальнику политотдела N — ской части майору Синебрюхову.

Уважаемый т. майор!

Мой сын Павел Гущин, 1957 г. р., служит в Вашей части. В своих письмах домой он сообщает об образцовом порядке и высоком уровне военно-политической подготовки в Вашем подразделении.

В порядке благодарности за правильное воспитание моего сына и в порядке шефской работы я хочу подарить Вашему политотделу скульптурный портрет вождя мирового пролетариата В. И. Ленина собственной работы. Одновременно хочу сообщить, что покупка такого бюста-портрета через Ленинградское отделение Худфонда РСФСР обошлась бы Вам в 3000 рублей + 40 % начислений + 20 % за отправку, итого 4800 рублей.

В случае Вашего согласия на получение подарка прошу откомандировать за ним моего сына Гущина Павла Васильевича в Ленинград за портретом. Отсылка по почте исключена, поскольку вождь дорогой и хрупкий и может поломаться при транспортировке, что может быть по-разному расценено политотделом Вашей дивизии и другими организациями, контролирующими политработу.

С уважением,

член Союза художников СССР скульптор Гущин В. В.»

Через месяц Павлик был дома. Поел, попил, пожил недельку и с запакованным вождем отправился дослуживать свой срок.

После Павлика таким же макаром мы вызвали Никиту и Севку.

Ленинград, 1976 г.

Ожидание

(психологическая зарисовка)

Тетя Соня готовит себе постель, дети спят, и я могу пойти встретить Лену с филармонического концерта.

Вестибюль Филармонии пуст. Маячат по углам два-три молодых человека, ожидающие своих. Белая лестница ярко освещена. Из-за закрытых дверей доносятся приглушенные звуки музыки.

За несколько минут до конца концерта начинается выходной спектакль.

Первыми появляются Умные.

Их немного, несколько человек. Они выходят из дверей, неторопливо спускаются по лестнице, спокойно проходят в пустой гардероб, со вкусом, не торопясь, надевают галоши, повязывают шарфы, тщательно застегивают пуговицы перед зеркалами. Их движения полны достоинства, лица спокойны и доброжелательны.

С последними аккордами двери широко распахиваются, и оттуда пробкой вылетают Ловкие.

Их человек пятнадцать-двадцать. Это спортивные, молодые, жизнерадостные люди. С веселыми криками они кубарем скатываются вниз по лестнице, перепрыгивая через три-четыре ступеньки и обгоняя друг друга. В гардеробе они мгновенно расхватывают свои пальто и исчезают в выходных дверях.

Затем валит Масса.

Живая, многоголосая, многоголовая и многоногая толпа заполняет всю лестницу, вестибюль и гардероб. В гардеробе сразу же образуется жаркий и тесный людоворот. Несколько многорядных очередей-гусениц, переплетаясь, теснят друг друга, пихаются, толкаются и качаются под напором прибывающих сзади. Шум стоит невообразимый. Гардеробщики носятся с номерками и ворохами одежды, все в мыле и поту. Мелькают пальто; падают на пол и топчутся ногами сумочки, шарфы; возникают ссоры, выражение лиц большинства напряженное; мужчины с грудой пальто и нахлобученными на головах своими и женскими шапками, прорываются сквозь толпу в вестибюль к ожидающим их дамам.

Все это столпотворение длится полчаса — сорок минут. Постепенно толпа редеет, успокаивается, растворяется в дверях. В вестибюле становится просторнее, а на лестнице появляются

Больные.

Это обычно старики, медленно спускающиеся по ступеням, инвалиды с палками и на костылях, иногда крепкие ребята несут на руках своих парализованных друзей. Группа эта немногочисленна, нетороплива, сосредоточена в себе и вызывает уважение и даже восхищение.

После этой группы людей наступает некоторая пауза, после которой появляются Ненормальные.

Их немного. Каждый из них — яркая индивидуальность. Наблюдать за ними крайне интересно. Главной особенностью для этой группы является необыкновенный характер движения. Они идут каждый в своем направлении и ритме. Некоторые быстро спускаются до половины лестницы, потом останавливаются и стоят некоторое время в неподвижности, затем поворачиваются и медленно возвращаются наверх, где стоят снова неопределенное время. Другие идут, не глядя перед собой, по диагонали лестничного проема. Дойдя до стенки, стукаются о нее, делают поворот и меняют направление по диагонали к другой стенке. Отдельные индивидуумы, пройдя несколько шагов вниз, начинают двигаться по ступени влево или вправо, иногда сшибаются друг с другом и, не извиняясь, расходятся. Взгляд их рассеян и бессмыслен. Одиночки, как правило, оцепенело замкнуты. Группки отчаянно спорят и жестикулируют, стоя на ступенях. В гардеробе они долго путаются, суя номерки не своим гардеробщикам; получив пальто, стоят с ним в раздумье некоторое время, потом одеваются кое-как и направляются к выходу под крики гардеробщиков: «Шапку забыл! А сумочку-то, сумочку!.. Шарфик заберите…»

После этого наступает долгая пауза.

Гардеробщики звякают снимаемыми номерками. Один за другим гасятся огни. Вестибюль полностью пустеет. Наступает тишина. И в проеме дверей из зала одновременно появляются две фигуры. Одна из них с ведром и шваброй.

Другая — Лена.

Уборщица идет рядом и что-то энергично ей говорит. Лена, молча и очень медленно спускается по лестнице, автоматически передвигая ноги. На щеках яркий румянец, глаза широко раскрыты и неподвижно устремлены выше линии горизонта. На губах неопределенная потусторонняя улыбка. Она молча и замедленно сует руки в рукава поданного ей пальто, машинально застегивается, мы выходим на темный Невский и молча, как в немом и замедленном кино, следуем домой. Говорить с ней сейчас нельзя, спрашивать о чем-нибудь опасно. Надо молча идти рядом, изо всех сил сдерживая рвущиеся вперед ноги.

Дома я рывком сбрасываю пальто и пробегаю по комнатам. Дети спят, тетя Соня сопит в своей комнате, — все ладно. Возвращаюсь на кухню. Лена стоит в пальто в той же позе, прислонившись к косяку двери. Взгляд неподвижен.

На часах половина первого.

Мисюська

(психологическое исследование)

Социально опасный тип. Существо женского пола неопределенного возраста.

(Примечание: Изредка встречаются мисюси мужского пола — тогда мисюсьство принимает резко патологические формы.)

Основная черта: неукротимая потребность изливать свою душу, неистребимая любовь к своей жертве.

Жертву свою преследует настойчиво, неутомимо, последовательно.

Глупа в изрядной степени, болтлива в чрезмерной, тактична в нулевой.

Интеллектуальна, склонна к нежным и высоким чувствам, либеральным взглядам, наукообразным выражениям, которыми считает своим долгом делиться с современниками.

Обладает свойствами рыбы-прилипалы.

Средства борьбы:

Дуст, хлорофос, дэта, антимоль, дихлофос не помогают.

Гомеопатия бессильна.

Терапия бесполезна.

Рекомендуется резкое хирургическое вмешательство, желательно на ранней стадии обмисюсивания жертвы.

Муркис

Лена вернулась с Муркисом из сада очень взволнованная и возбужденная.

— Ты знаешь Ларису Владимирскую, нашу соседку?

— Это такая высокая блондинка, мать Таниной одноклассницы?

— Да. Я сегодня встретила ее в саду, и она буквально набросилась на Муркиса. Она сказала, что он красавец, что он вылитый ее Пушок, который прожил у них двенадцать лет, а месяц тому назад вышел погулять во двор и пропал. Она кормила его парной телятиной, он по полгода проводил на их даче под Лугой, поэтому ему хватало воздуха и витаминов, а когда он болел, она выписывала ему лекарства из Вены, но он пропал, и теперь дети и она в страшном стрессе, и она уже не спит целый месяц и живет только на седуксене. И ты знаешь, что она предложила?

— Нет, — вяло ответил я, немного окосевший от подробного жизнеописания Пушка Владимирского.

— Она попросила отдать ей Муркиса, потому что он как две капли воды похож на ее Пушка, и она, когда увидела его, даже задрожала. Когда она говорила, у нее были слезы на глазах.

— Ну и что ты ей ответила?

— Я сказала, что посоветуюсь с тобой. Вообще, она так переживает… Я подумала, может быть, там, под Лугой, Муркису будет лучше жить на воздухе и на телятине, чем в нашей мрачной квартире с видом на помойку… Но, с другой стороны, так неохота его отдавать… Мурик! Ты мой маленький! Ты мой хороший! Ты мой красавчик! А ты знаешь, что она мне предложила?

— Не знаю.

— Они богатые люди, муж директор фирмы, это их

«Мерседес» стоит у нас во дворе, в общем, она сказала, что она за Муркиса отдаст хоть сейчас пятьсот долларов!

До сих пор я слушал всю эту дребедень рассеянно, отстраненно фиксируя происходящую в Ленинской душе борьбу человеколюбия с котолюбием. Зная Лену очень хорошо, я решил действовать осторожно и окружать ее издалека, чтобы не спугнуть рыбку.

— Я помню мать Ларисы. Славная такая старушка. Что-то ее давно не видно.

— Она умерла уже года два тому назад.

— Говорят, она была певица?

— Отличная! У нее было прекрасное меццо-сопрано.

— А отец Ларисы жив?

— Ну что ты! Он умер давно, еще до смерти матери.

— Значит, она сирота? — начал я сужать круги.

— Конечно! Круглая! И поэтому она была так привязана к этому коту!

Рыбка сама стремительно приближалась к крючку. Теперь нужно было подвести ее поближе.

— Ты говоришь, что она была очень расстроена?

— Это не то слово! Она рыдала у меня на плече!

— Рыдала? Это ужасно!

— Да, рыдала. Она сверхэмоциональна и вообще истеричка.

— Да, — с тяжелым вздохом сказал я, — дела… Что же делать?

— Не знаю. Конечно, Муркиса жалко, но, наверно, придется отдать…

Рыбка клевала. Пора была подсекать.

— Ты говоришь, она уже месяц на седуксене?

— Да. И каждую ночь плачет.

— Ну что же, — сказал я со вторым тяжелым вздохом. — Круглая сирота, истеричка, сидит на седуксене… Ничего не поделаешь, надо отдавать.

— Надо отдавать, — как эхо, отозвалась Лена.

— Утешить сироту…

— Утешить, — сказала Лена, и глаза ее увлажнились.

— За пятьсот долларов! — рванул я удочку!

Лена тупо посмотрела на меня, как бы сквозь стекло, потом гордо выпрямилась и изрекла:

— Друзей не продают!

Потом подумала и добавила:

— А ты знаешь, что она мне предложила напоследок?

— Не знаю, — ответил я, как-то сразу утратив интерес к вопросу.

— Она сказала: «Пока вы с Левой будете решать, зовите его с сегодняшнего дня Пушком. Пускай привыкает».

— Ну вот еще! — возмутился я. — Никаких Пушков! Ишь, чего захотела! Муркис останется Муркисом. Это принципиально! А уж если хочет Пушка, тогда еще плюс сто долларов! И ни цента меньше!

Лена грустно на меня посмотрела, схватила Муркиса в объятия, трижды поцеловала между ушами и унесла в другую комнату.

Как мы с Леной на выставку Сморгона ходили

Пришли мы в музей-квартиру Пушкина, надели мягкие тапочки в вестибюле и подошли к кассе. Предъявили свои удостоверения. Строгая девушка — бледная курица — подняла глаза и сухо объяснила:

— У нас индивидуального прохода нет. Только с организованными экскурсиями. Придется вам купить билеты.

— Нам не к Пушкину. Нам к Сморгону.

— К Сморгону? — удивилась девушка и похорошела лицом. — Тогда пожалуйста! О чем речь! Проходите! Это пожалуйста! Это бесплатно!

В зале нас встретила охранная старушка и потребовала билеты.

— Мы к Сморгону.

— К Сморгону? Ага! — как-то злорадно сказала старушка, вроде бы уличив нас в чем-то неприличном.

— К Сморгону. Значит, к Пушкину не пойдете, — уточнила она.

— Не пойдем.

— Тогда только четыре зала. А дальше вам нельзя.

— Мы поняли.

— Потому что дальше — пушкинские залы, — подытожила старушка, — а у вас билетов нет.

— Нет, — сознались мы. — Но нам к Пушкину не надо. Мы и не пойдем.

— Потому что у вас билетов нет! — припечатала старушка, утвердив себя окончательно.

Начали мы смотреть. Живопись удивила. В скульптуре Сморгон резкий, дерзкий, декларативный, грубый, а в живописи — приглушенный, туманный, поет полушепотом и в задушевность тянет, цветом играет сдержанно, как бы боится крикнуть… «Горицкий монастырь» — красиво, «Горицы» — хорошо, остальные — по-разному.

Автопортретов навалял штук восемь. И все похожи. И все разноцветны. И опять же, вполголоса. То ли Ниссенбаум на него влияет, то ли от Роттенберга не уйти.

В другом зале — бронзовая фигурка Ахматовой хороша. А на стенке литография — Анна Андреевна в возрасте. Свеча, старинные обои, ожерелье… Посмотрели мы с Леной раз, посмотрели два, посмотрели три и признали: а ведь красивая

вещь! И зря мы ее тридцать один год в кладовке держали!

Тут мы заметили, что старушка за нами по пятам ходит. То ли боится, что мы сопрем что-нибудь, то ли бдит, чтобы мы без билетов к Пушкину не сиганули. Потому что не могут же нормальные люди вот просто так придти на эту выставку. Наверняка у них что-то иное на уме.

Лена моя увлеклась, стала мне доказывать, что в каждом скульптурном Пушкине автопортрет Сморгона просвечивает.

Я говорю:

— Да что ты! Он, конечно, с самомнением, но не полный же псих!

— А вот, посмотри! — и стала руками показывать: ладошки растопырила, рамочку из пальцев состроила, верх и низ прикрыла, маску оставила, а из рамки — и правда, Сморгон торчит!

Тут старушка коршуном налетела:

— Руками трогать? Да вы что? Вы что, в музее не бывали? У нас не полагается руками! Хоть вы, как я вижу, родственники, но все равно руками нельзя!

Я подумал: какой же я Пушкину родственник? А потом догадался — автору! Тогда другое дело. Все в порядке. И на старушку с уважением посмотрел: зрительная память у нее — будь здоров!

Перестали мы родственника руками лапать, дальше пошли.

А дальше темперный Пушкин — целая серия. И от этой серии как-то на душе тепло стало. Пушкин-то, оказывается, — человек. Не только классик мировой литературы. Он и на канапе любил поваляться, и выпить был не дурак. А Наталья сидит рядом со своей красотой, как кукла, про Дантеса мечтает, а к Пушкину равнодушна. Стерва.

Рядом портрет из разноцветной бронзы, тоже интересный — Пушкин весь в дырках. Наверное, после дуэли. А на стенке большой белый, мягко вылепленный, без единой дырки. И тоже Пушкин.

Задумался я глубоко: как тут определиться? Где истина? Ни один намордник на Сморгона не налезает… Но на рисунках писателей успокоился. Очень хорошие рисунки. Ведь его тысячу раз рисовали, а Сморгон своего Владимира Владимировича нашел и изобразил. Умеет, подлец, рисовать, оказывается! Когда захочет. И без единой дырки…

В четвертый зал перешли. Справа между окон портрет висит. Я на него только глянул и сразу взбесился прямо.

— Посмотри, — Лене говорю возмущенно, — ну уж это совсем не Пушкин! Просто безобразие какое-то!

Лена глянула и так сухо мне:

— Да. Согласна. Не Пушкин. Тем более, что это Пастернак.

М-да… Обмишурился я. Хотел перед молодой женой свою образованность и тонкий вкус обнаружить — и в небо пальцем. Очень я за это на Сморгона обозлился и стал всех Марин ругать. И Спиваковых, и Цветаевых. А Лена хвалить. А я ругать. И подошли мы так незаметно к заветной двери в пушкинские залы.

В дверях другая старушка стоит. Очкастая. И вдруг слышим мы за спиной, как через нашу голову сморгонья старушка пушкинской эстафету передает:

— Вот этих туда не пускать. Потому что у них билетов нет. Они только на выставку пришли. А билетов не покупали.

Тут пушкинская старушка плечи расправила, встала в дверях, как двадцать восемь панфиловцев, брови нахмурила и весь проход загородила. И вовремя. Поскольку Лену вдруг неудержимо к Пушкину понесло… Хорошо, что успел ее за руку схватить.

Стали мы портреты Олега Охапкина смотреть, и опять почему-то мне беспокойно стало. Только я Сморгона в лирики записал, а он взял да и в физики вышел. Опять резкий, опять волевой… Куда ты скачешь, верный конь, и где опустишь ты копыта?..

Пошли мы к выходу. Конвой в затылок дышит. У выхода я к старушке поворачиваюсь и спрашиваю:

— Где у вас книга отзывов? Я хочу кое-что написать.

— А она у нас у начальника нашего Нины Владимировны хранится.

— Вот тебе раз! А начальник где хранится?

— А она на третьем этаже. Вот по лестнице поднимитесь, постучитесь, она вас примет и книгу отзывов выдаст.

— Под расписку?

— Не знаю. Это как решит. А вот и она сама идет.

Идет. Вижу. Худенькая такая. Вся из себя интеллигентная дама. Я, с пылу горячий, на нее:

— Нина Владимировна! Говорят, что книга отзывов у вас хранится и вы ее выдаете по вашему усмотрению. Так это?

Она смотрит на меня жалобно, растерялась и говорит:

— Вы извините, пожалуйста! Но книги отзывов у нас вообще нет.

— Как нет? Такая выставка, в таком престижном месте, можно сказать, в самом культурном центре Петербурга… Ведь уже две недели прошло — сколько людей выставку посетило, и никто не мог отзыва написать, а автору реакция людей очень важна, он, может быть, сорок лет к этой выставке готовился, почему же вы книгу отзывов не положите?

— Вы меня извините, — говорит Нина Владимировна, а у самой слезы на глазах, — дело в том, что у нас кладовщица в отпуск ушла, кладовку с книгами на замок закрыла, а мне, знаете, сейчас не под силу на свои гроссбух купить, он пятнадцать тысяч стоит…

Ну, тут я притормозил резко. Начал задний ход давать. Все-таки, пост-перестроечный период. Инфляция есть, а инвестиций нет. Куда там — книгу отзывов иметь.

А самому очень обидно стало. Не так за Сморгона, как за себя. Потому что, пока я его картинки смотрел, я стишок придумал и в книге хотел написать. И не вышло.

Поэтому я и рассказ этот написал, чтобы стишок поместить, а не чтобы фимиам Сморгону курить.

Подражание И. Губерману

Сморгон всегда во всем приметен.
(Был путь тернист, длинна дорога.)
Сморгонов много есть на свете,
Но только Лев — артист от Бога!

С. Петербург, 12 августа 1996 г.

Варежка

Наступила зима, и дед начал собираться домой в Ленинград.

— У тебя есть варежка? — спросила мама.

— Нет, я забыл в Ленинграде.

— Давай, я тебе сошью, — сказала мама, — ведь ты поедешь в конце декабря, и там будет мороз.

— Хорошо, — сказал дед, — а пока ты шьешь, мы погуляем с Данькой.

Данька привел деда на детскую площадку. Там они покачались на качелях, покатались на карусели, а потом Данька забрался на высокую горку, съехал вниз и сказал деду:

— Давай, полезай за мной! Прокатишься!

Дед охнул и полез. Сначала по лесенке, потом по качающемуся мостику, потом пролез в трубу, потом опять по лесенке и, наконец, оказался на самом верху.

Там было так высоко! Далеко внизу бегали маленькие букарашки — дети. Горный орел пролетел где-то рядом, чуть не задев крылом дедушкину шляпу… Честно говоря, деду не очень хотелось катиться с горки, но он не хотел показать, что немножко боится, потому что настоящие мужчины ничего не боятся, а Данька уже съехал с горки два раза и показал себя как настоящий мужчина. Поэтому дед сел в красный желоб, зажмурил глаза и покатился.

Внизу его ждал Данька с растопыренными руками. Он схватил деда, дед схватил Даньку, они вцепились друг в друга и очень обрадовались. Дед был рад, что его спас Данька, а Данька был рад, что спас деда.

Когда они вернулись домой, то увидели маму, сидящую посреди кровати за работой. Вся комната была завалена кусками старой дубленки, нитками и иголками.

— Вот, — сказала мама радостно, — я уже почти закончила. Примерь.

— Что это? — спросил дед.

— Как что, — удивилась мама, — это варежка. Очень теплая. С мехом. И ты не замерзнешь.

— Да, конечно, — согласился дед, — оно… то есть она, очень теплая… Я обязательно увезу его… ее в Ленинград. Бабушке оно, то есть она, очень пригодится в зимних экспедициях. Как спальный мешок.

— Тебя смущает размер? — спросила мама.

— Немного смущает, — сознался дед.

— Ну, ничего, — бодро сказала мама. — Я слегка ушью, а вы

пока еще погуляйте.

Дед взял Даньку за руку и они вышли на улицу, где встретили своих друзей — Элика, Катьку и Соньку, и дед стал за ними гоняться и их ловить, а они визжали и убегали.

Через час-полтора они вернулись домой.

Мама сидела по-прежнему в той же позе, поджав под себя ноги, которых, впрочем, не было видно, так как она по пояс утонула в рыже-белых обрезках меха.

— Ну вот, — сказала мама, — теперь все в порядке. Примерь.

Дед с опаской глубоко окунул руку в варежку и задумался.

— Что? Опять размер? — забеспокоилась мама.

— Хорошая варежка, — уклончиво ответил дед. — У меня еще сроду не бывало такой варежки…

— Тебе не нравится фасон? — озабоченно спросила мама.

— Чудесный фасон, — ответил дед. — Ихтиозавр средней упитанности наверняка гордился бы таким фасоном… Он бы использовал его как праздничный намордник.

— М-да, — нахмурилась мама, — на тебя не угодишь.

— Ну почему же, — сказал дед, — я очень доволен. Отличная варежка. Я предпочел бы с пальцем. Но и так можно носить. В виде муфты.

— Палец есть, — обиделась мама, — ты его просто проскочил. Вот, пожалуйста! А тебе лишь бы понасмешничать.

— Ах да! — удивился дед. — Как же я его сразу не заметил? Палец у локтя — это очень красиво. В духе современного дизайна…

— Дед! Пойдем еще погуляем! — сказал Данька, тонко уловивший обстановку. — Там нас Элик зовет.

Они еще погуляли, поиграли в мяч, побегали с Эликом и устроили соревнование по прыжкам в длину.

Начало темнеть, когда они вернулись домой.

Мама сидела за пишущей машинкой и печатала стихи. Рыже-белая гора возвышалась до потолка над кроватью. На кухне ждал горячий обед, а на столе в салоне лежала красивая, теплая, сверху рыжая, внутри белая, отличная варежка. И даже с пальцем.

Дед поцеловал маму, сказал ей спасибо, надел варежку и поехал в Ленинград.

Январь 1991 г.

Иерусалим — Ленинград

Библейская притча

Пришел к ребе кузнец и сказал:

— Ребе! Помоги мне в моем горе. Моя жена каждый день бьется головой о стенку.

— Обратись к ее разуму, — ответил ребе. Скажи ей, что голова человека дана ему Богом, чтобы думать и творить добрые дела, а не служить молотом для пробивания стен.

— Я пробовал это, — ответил кузнец. Она меня не слышит и продолжает биться.

— Обратись к ее женской гордости, — сказал ребе. — Скажи ей, что от битья о стенку у нее на лице синяки, волосы ее растрепаны, нос опух и она из красавицы становится ведьмой…

— Я говорил это и даже показывал зеркало. Не помогло.

— Оббей стену ватным одеялом, — посоветовал ребе.

— Она перешла к другой, — со слезами в голосе ответил кузнец.

— Приласкай ее, поцелуй, обними крепко, уведи в постель и там успокой ее самым древним способом, который мы унаследовали от праотца нашего Авраама, который четыре тысячи лет тому назад праотец наш завещал нам, своим потомкам.

— Не помогает, — ответил кузнец. Встав утром с постели, она немедленно побежала к своей стенке и снова начала биться.

— Слушай! — возвысил голос ребе. У человека ум в голове. Но бывает, что он взбунтуется, выходит из положенного ему Богом места и спускается ниже спины. Тогда нужно взять вожжи и несколько раз крепко ударить по нижнему месту! Ум быстро поднимется по позвоночнику, войдет в голову, и все неприятности закончатся.

— Этого сделать я не могу, — угрюмо промолвил кузнец.

— Почему? Или сила оставила твои руки? — спросил ребе.

— Руки мои в порядке, — ответил кузнец. Я играю с пятипудовой кувалдой, а вчера вечером перенес на себе в кузницу больную лошадь, чтобы снять с нее плохие подковы и сделать новые, хорошие.

— Так в чем же дело?! — потеряв терпение, закричал ребе.

— В том, что я ее люблю, — сказал кузнец и вышел.

Кровь Маккавеев

Ранним мартовским утром, на второй день пребывания на окраине Иерусалима, я вышел с этюдником в поисках интересного мотива.

Солнце было еще не жгучим, а ласковым, после асфальтового шоссе сразу начинался спуск в зеленую долину между поросшим хвойным лесом и колючим кустарником убегающим вниз каменистым склоном. Долину, или глубокую расщелину, обрамляли разновысокие холмы, где-то затененные до ультрамариновой синевы, где-то голубеющие в дымке на горизонте. Извилистая тропа вела меня вниз, с каждым пройденным шагом открывая новые виды растений, удивительные нагромождения камней и необычные цветовые сочетания.

Я вступал в незнакомый мне доселе мир — ближневосточный пейзаж, который отдаленно напоминал то ли камерное очарование литовских холмов и долин, то ли великолепие и мощь Кавказских гор, или что-то среднее между ними, своеобразное, похожее не на Богом данные красоты Кавказа и Литвы, а высаженное и взращенное руками первых поселенцев, превративших в леса и сады пустынные скалистые библейские холмы.

Медленное течение мысли вдруг оборвалось, так как где-то слева и снизу среди темных колючих кустов и охристых выходов скальных пород что-то ярко сверкнуло красным огоньком и тут же спряталось, потухло. Я сделал два шага в сторону и ахнул. Передо мной, как рассыпанные по земле рубины, открылись яркие красные цветы не виданной мной никогда чистоты и силы цвета… Горные маки! И какие!

Они не просто краснели — они горели под солнцем, как ясные фонарики-пятилистники на невысоком стебельке, аленькие цветочки из сказки Аксакова.

Я торопливо раскрыл этюдник и начал писать. Общее окружение — цветовые пятна камней, колючек и трав — я набросал довольно быстро, потом взялся за киноварь и кармин и с наслаждением прорисовал контуры ближайших цветков и разбег пятнышек уходящих цепочек.

Солнце, между тем, встало уже высоко, шляпу я забыл дома, и голову стало печь. Чем дальше, тем сильнее. Пришлось заканчивать работу — с нами, северянами, израильское солнышко не шутит.

Собрав этюдник и повесив его на плечо, я сорвал несколько маков, чтобы закончить этюд дома по памяти. Поднялся в гору,

вышел на шоссе и сразу издали увидел своего знакомого из Ленинграда, который жил здесь уже около пяти лет. Он тоже узнал меня, заулыбался во весь рот, помахал мне рукой, и мы пошли навстречу друг другу.

По мере того как он подходил ко мне все ближе, я увидел, почувствовал некоторую странность: улыбка сходила с его лица, и смотрел он не на меня, а на цветы в моей руке.

— Привет, Исаак! — бодро выкрикнул я. — Вот мы и встретились на земле обетованной!

— Ты сорвал эти цветы? — вместо приветствия выдохнул мой знакомый с каким-то испугом.

— Да, — оторопело подтвердил я, — Это дикие маки, я сорвал их внизу на склоне…

— Это не маки, а колониоты, — прервал меня Исаак. — Спрячь их скорее! Если кто-нибудь увидит их в твоих руках, у тебя будут большие неприятности.

— Почему? Из-за трех диких цветков — большие неприятности?

— Эти цветы здесь священны. Их считают каплями крови израильских солдат, павших за независимость Израиля в 1948 году.

Я спрятал цветы за пазуху, и они еще раз показались мне огоньками, потому что жгли мне кожу.

Много лет спустя, в зале, где экспонировалась выставка моих акварельных пейзажей, за накрытыми столами с вином и всяческой снедью, собрались седые серьезные мужчины. Все они были празднично одеты, множество орденов и медалей украшали их пиджаки и мундиры.

— Мы сегодня празднуем Хануку, — сказал ведущий и поднял бокал с вином, — Один из главных еврейских праздников в честь победы Маккавеев над врагами в 167 году до нашей эры. Нам, участникам великой битвы с фашизмом, этот праздник должен быть особенно дорог. Разрешите открыть наш праздник великолепными стихами Бунина, которые могут стать камертоном всей нашей сегодняшней встречи. Но сначала несколько слов. Ранней весной расцветают в Израиле красивые цветы, похожие на маки. Их можно видеть не только на лесных полянах, на обочинах дорог, — везде и всюду видны их ярко красные лепестки. Называются они «кровь Маккавеев».

И. Бунин

Это было весной. За восточной стеной
был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. Ни припеке во рву
мак кропил огоньками траву.
И сказал проводник: «Господин! Я — еврей,
и, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
это все, что осталося нам».
Я спросил: «На цветы?» И услышал в ответ:
Господин! Это праотцев след.
Кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
красным маком восходит она.

Я впервые слышал эти стихи, и нарастающий с каждым словом интерес вдруг обернулся для меня ясным временным мостом между Маккавеями и Буниным, между Буниным и собой…

А на стенке в простой деревянной рамке алели мои маки, такие же прекрасные, как и две тысячи лет тому назад…

Притча о березе

Росла береза на краю елового леса.

И была эта береза так широка и раскидиста, что отдельные ее ветки аж в глубину еловника забрались.

И так они там привыкли и так прижились, что себя березовыми почитать перестали, а стали считать себя хвойного происхождения. Елки над ними посмеивались, но не мешали им так думать. Иногда даже милостью своей дарили — каплями смолы уроненными награждали, а березовые веточки те капли с жадностью ловили и на себя вешали — чтобы хвоей пахнуть.

Только начался однажды буран.

Зашевелил, раскидал он еловые ветки. Расшумелись, раскачались лапы еловые, стали больно толкать да колоть березовые веточки… — Вон отсюда! Без вас плохо!

Заплакали, зашелестели березовые веточки: Куда же мы? Мы же хорошие! Мы же елочки! Вон — и хвоей пахнем…

Да не верили им тяжелые зеленые лапы, толкали и ломали попрежнему. Кого поломали, а кого и оставили.

Буран тем временем и прошел.

Начали оставшиеся березки-веточки думать: как быть? Что делать? И порешили — надо, дескать, от березы отломаться, да к елке прилепиться. Тогда все ладно будет. И иголочки у нас может быть вырастут. Сказано — сделано. Стали они выкручиваться, да выламываться. Обломились у основания и на землю упали. Там им и конец пришел.

Береза подумала: Жаль. У меня на три веточки меньше стало. Подумала и забыла.

А елки вообще ничего не заметили и продолжали шуметь своими зелеными широкими лапами.